[Polaris]

Джозайя Флинт



ХОБО В РОССИИ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

XXIX



Salamandra P.V.V.

**Джозайя
Флинт**

ХОБО В РОССИИ

Изд. 2-е, исправленное

Salamandra P.V.V.

Флинт Д.

Хобо в России. Пер., предисл. и прим. С. Шаргородского. Изд. 2-е, испр. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. – 85 с., илл. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. XXIX).

Первый перевод на русский язык воспоминаний американского писателя-бродяги Джозайи Флинта о путешествиях в Россию, Льве Толстом и жизни в Ясной Поляне, странствиях с русскими бродягами, столичной полиции и генерале Куропаткине.

© S. Shargorodsky, перевод, предисловие, примечания, 2009-2014
© Salamandra P.V.V., оформление, 2014





ХОБО В РОССИИ

ДЖОЗАЙЯ ФЛИНТ – НАСТОЯЩИЙ И ИСТИННЫЙ

Джозайя Флинт Уиллард, более известный под псевдонимом Джозайя Флинт (1869-1907) – американский журналист, писатель и социолог, прославился очерками о скитаниях с бродягами в Европе и Соединенных Штатах и разоблачениями коррупции городских властей и полиции.

Так говорят сухие строки справочников, сам же Флинт хотел остаться в людской памяти одним из тех, кого всю жизнь манила «недостижимая и вечно исчезающая даль» большой дороги, скрытая за горизонтом. Но если для других эти слова, написанные им в воспоминаниях, оставались пустым звуком, Флинт понимал их буквально – Муза его странствовала в тряпье бродяги.

Флинт, племянник знаменитой суфражистки Фрэнсис Э. Уиллард, родился в просвещенной семье меннонитов. Он рано потерял отца, бросил колледж, побывал в тюрьме, бежал из исправительной школы, бродяжничал, затем нанялся кочегаром на корабль и перебрался в Европу.

В 1890-1898 гг. Флинт жил с матерью и сестрами в Германии, учился в Берлинском университете и публиковался в американской периодике. В эти годы он объездил и исходил всю Европу, странствовал с бродягами, в Норвегии познакомился с Генрихом Ибсеном, стал близким другом известного английского поэта и критика Артура Саймонса, дважды побывал в России, жил в Ясной Поляне у Льва Толстого.

В 1898 г. Флинт вернулся в США, где продолжал свои исследования социального дна. Он служил полицейским на железной дороге, детективом в сыскном агентстве, работал охранником вагонов в Оклахоме. Рассказы и очерки Флинта, которые печатались в Atlantic Monthly, Harpers Weekly, Contemporary, Century, McClure's Magazine и других журналах, считались в свое время наиболее точными зарисовками жизни американских бродяг-«хобо». По словам современного исследователя, «ученые, писатели и полицейские постоянно ссылались на многочисленные статьи Флинта, близкие к социологическим и даже этнографическим описаниям, в качестве достоверного отображения бродяги и его окружения». Кстати, именно Флинт ввел в повседневное обращение термин underworld – «подпольный мир» бродяг и преступников.

В этом мире тщедушного Флинта прозвали «Чикагской сигаретой», и там он чувствовал себя своим. Табак и виски были его верными спутниками. Друзья Флинта вспоминают, что в темных городских проулках и подозрительных притонах он мгновенно преображался: менялось выражение лица, походка, Флинт начинал сыпать непонятными для чужаков жаргонными словечками (язык «подполья» он знал в совершенстве).

Подобное существование, разумеется, не располагало ни к оседлости, ни к семейной жизни. В воспоминаниях о Флинте можно встретить рассказ о девушке, в которую он был долго и безответно влюблен, причем так и не решился признаться ей в своих чувствах. Судя по косвенным намекам в записках Флинта, в Лондоне он содержал некую начинающую актрису. За несколько лет до смерти Флинт собрался было остепениться, выстроил хижину в горах Вудланд-

Вэлли и приобрел клочок земли под строительство дома, но зов дороги оказался сильнее.

В 1899-1907 гг. Флинт опубликовал шесть книг, включая «Странствия с бродягами» (1899), «Записки кочующего полисмена» (1900) и «Мир взяточничества» (1901). Умер он в чикагской гостинице от воспаления легких 20 января 1907 года. Посмертно была издана автобиография «Моя жизнь» (1908).

Джек Лондон посвятил сборник рассказов о бродяжничестве «Дорога» (1907) «Джозайе Флинту, настоящему и истинному» бродяге. Как и Лондон, Флинт во многом предвосхитил жизненные стратегии и литетературу битников, в том числе манифест бит-поколения – «На дороге» Джека Керуака (1957). Флинта порой называют также одним из основоположников «реалистической социологии», но в наши дни его, к сожалению, вспоминают все реже и реже.

Нижеследующие главки вошли в книгу Флинта «Моя жизнь», за исключением очерка «С русскими горюнами», который был опубликован в «Странствиях с бродягами»; все они впервые переводятся на русский язык. При переводе учитывались очевидные опечатки первоизданий (в первую очередь в транскрипции русских слов). Главка «В Санкт-Петербурге» публикуется с сокращениями, вызванными тем, что вторая часть главы не имеет отношения к российским приключениям Флинта.

С. Ш.

ВИЗИТ К ТОЛСТОМУ

В середине лета 1896 года я познакомился с Толстым. В то время в Нижнем Новгороде проходила Национальная выставка*. Все лето продавались недорогие экскурсионные билеты на поезда и пароходы; иностранным корреспондентам выдавали бесплатные трехмесячные билеты, позволявшие владельцам путешествовать в первом классе по всем железнодорожным линиям страны. Итак, мне представилась возможность со вкусом удовлетворить *Wanderlust** – прежде со мной такого не бывало. Я приобрел маленький русский самоучитель Бедекера, заручился рекомендациями в Санкт-Петербурге и отправился в Россию, собираясь провести неделю в полях – или на любой работе, для какой я мог сгодиться – в Ясной Поляне, на ферме графа Толстого, чье имение располагалось милях в ста пятидесяти к югу от Москвы. Признаться, я сомневался, выдадут ли мне бесплатный билет. Друзья в Санкт-Петербурге любезно помогли мне его получить, я выехал в Москву и до исхода лета успел побывать в сотнях других городов и деревень в различных областях империи. Зная около двухсот пятидесяти русских слов и располагая паспортом, свободой передвижения по железной дороге и не более чем 75 долларами, я до возвращения в Берлин проделал примерно двадцать пять тысяч миль. На гостиницы я не тратился, поскольку ночевал в поездах. Первый класс на железной дороге включает спальное место. Когда близилась ночь, я преспокойно занимал постель в каком-нибудь поезде дальнего сле-

дования и таким образом мог выспаться. По утрам я выходил и осматривал окрестности либо продолжал путь в поезде. Ночуя в спальных выгонах, я также экономил на паспортном сборе в гостиницах, который в России выливается для завзятого путешественника в немалые расходы. Обедал я на вокзалах, где имеются лучшие из известных мне железнодорожных ресторанов. Но несмотря на подобную экономию, достопримечательности и разъезды, по окончании каникул я был искренне рад вернуться в Германию и затем на протяжении многих месяцев счастливо держал *Wanderlust* в узде.

Самые любопытные национальные черты России, безусловно, явил мне граф Толстой. Царь, музеи, дворцы, громадные поместья, величественные и темные мужики – люди и предметы занимательные, но они не сумели овладеть моим воображением настолько сильно, как этот романист с претензией на филантропию. До встречи с Толстым, должен сказать, я не читал ни единого его романа; мои представления о толстовском альтруизме были весьма туманны. Одним словом, мыслил я подобно людям, никогда не бывавшим в России и не видевшим Толстого; узнав, что вы там бывали и встречались с ним, они немедленно спрашивают: «Скажите-ка честно, *положа руку на сердце*, лицемер он или нет?»

Основываясь на недолгом знакомстве с Толстым, я должен решительно, раз и навсегда заявить, что никогда он не был лицемером – ни в то время, когда предавался всем мыслимым порокам, ни теперь, когда пытается отвратить других от своей греховной стези. Вот ведь странно: человек стремился испытать все дьявольские искушения, теперь же отказывается от них и уверяет, что с него довольно, старается наставить других на лучший путь – и в умы тысяч тотчас

же закрадываются сомнения: имеет ли он право утверждать, что познал все соблазны, и должно ли прочим избегать того, что испробовал он?

В 1896 году в Ясной Поляне я увидел хорошо сохранившегося пожилого джентльмена с запавшими серыми глазами под нависшими кустистыми бровями; он чуть горбился, неся на плечах, если память мне не изменяет, тяжесть почти семидесяти прожитых лет. На нем была простая крестьянская одежда, о которой ходило столько глупых разговоров. Однако в России любой, кто живет в деревне, с приходом лета надевает одежду, по форме и покрою напоминающую одеяние мужика. В теплые летние месяцы главное различие между нарядом мужика и его хозяина состоит в том, что одежда последнего чиста.

Не скрою, Ясную Поляну я в первую очередь решил посетить как журналист*. Да и в целом поездка в Россию была предпринята ради «подходящих» новостей для нью-йоркской газеты. Бесплатный проезд по железной дороге позволял быстро добираться к местам «событий», а также собирать материалы для более «пространных» очерков. Во всяком случае, получив билет корреспондента, я рассудил, что он открывает передо мной волшебные журналистские горизонты. Попади этот билет в другие руки, быть может, так и случилось бы – но мои «подходящие» статьи, как позднее выяснилось, ожидал лишь скромный успех. Мой опыт (не вдаваясь в рассуждения о даровании, репутации и связях) свидетельствует, что европейские «темы» не пользуются особым спросом в Соединенных Штатах. Среднему писателю едва ли удастся прокормить себя подобными статьями, даже если он ограничится овощным рационом. Нашим редакторам, как правило, требуются американские «темы». Только в самые последние годы они стали обращать неко-

торое внимание на службы иностранных новостей, но делом отбора и распространения фактов по-прежнему заняты любители сенсаций, зачастую столь же беспринципные, сколь и бесталанные.

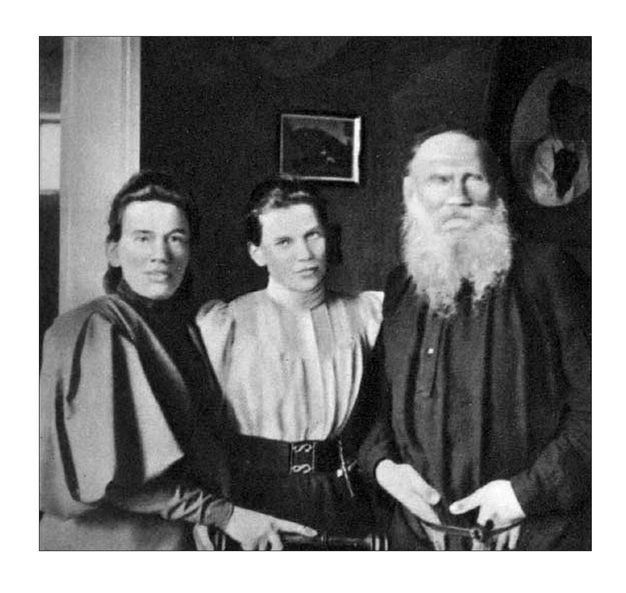
Американцы толпами стекаются в Европу и лихорадочно мечутся к одного города к другому, точно сама их жизнь зависит от возможности поглазеть на всяческую чепуху вроде старинных табакерок знаменитостей минувших веков. Ничто не должно от них ускользнуть. Их затраты должны окупаться на каждом шагу. Иные задерживаются здесь подольше и пытаются хоть немного узнать о нынешнем состоянии увиденных ими стран и людей. Но подавляющее большинство мчится вперед; расталкивая друг друга, они забираются в самые потаенные «исторические» уголки, и для многих из них – вероятно, почти для всех – Европа становится лишь музеем предметов, «отмеченных звездочкой» в путеводителе по прихоти составителя*. Жизнь людей, своих современников, они окидывают лишь мимолетным взглядом; толпа устремляется к одним только «антикам». Это равнодушие к современной Европе, ее политике, социальным нравам и общественным институциям, во многом объясняло ту несостоятельность наших служб иностранных новостей, с какой мы сталкивались в прошлом. Стоило ли тратить деньги и рассказывать американцам о жизни за океаном, если сами они, находясь за границей, не обращали на эту жизнь ровно никакого внимания? Издатели и редакторы сочли, что подобные расходы лишены смысла, и даже сегодня многие из них предпочтут сообщению из Лондона мелкую новость из Янктона, штат Дакота. Читателям едва ли известно о Янктоне больше, чем о Лондоне, но что с того? Может, в штате Дакота у них живут родственники или они когда-то ссудили деньгами тамошних

фермеров под три процента в месяц. Торговцам новостями и этого достаточно. Сообщение из Янктона появляется на видном месте, пусть и говорится в нем всего лишь о чьем-то разводе. В финансовом смысле, провинциальность таких новостей гораздо важнее для газеты, чем космополитическая значимость сообщения из Лондона. Все это и многое другое, о чем я говорить не стану, делало жизнь иностранного корреспондента в Европе по меньшей мере непривлекательной. Тем не менее, в свое время я всерьез размышлял о подобной карьере и намерен был испытать свои силы в России. Думаю, если бы наши газеты – точнее, читатели газет – интересовались бы чем-либо помимо катастроф, громких самоубийств и светских скандалов, призвание это могло бы стать и полезным, и доходным. Но до тех пор, пока разумная и взвешенная статья из Лондона или Берлина продолжает заботить наших соотечественников куда меньше, чем срочная «депеша» из Уилкис-Бара, где ограбили какого-нибудь итальянца*, польза и коммерческая ценность труда иностранного корреспондента остаются под вопросом. Как бы то ни было, настал час, когда я решил, что иностранными «темами» на хлеб не заработаю – и отказался от мечты стать писателем такого сорта. Но и сегодня я жалею, что в иностранной службе, пока мечта была жива, для меня не нашлось подходящей должности.

Вернемся, однако, к Толстому и Ясной Поляне. Я пробыл там десять дней и чуть ли не каждый день встречался с Толстым и его семьей; на ночь я оставался в Ясной Поляне либо же делил свое время между имением и домом соседа Толстых*. В Ясной Поляне я ночевал в комнате, называвшейся графской библиотекой – очевидно, она служила и спальней. В соседском доме мне предоставляли койку в амбаре;

здесь же ночевали двое русских, друзья графа. Они помогали Толстому в «редактировании» четырех Евангелий, отбрасывая в своей версии те стихи, которые Толстой находил непонятными или ненужными. Английские и американские гости настолько часто описывали жизнь в старом яснополянском имении, что мне почти нечего добавить к известной картине дома и повседневной жизни в нем. Место это во многих отношениях выглядит запущенным и неряшливым, но два жилых крыла старой усадьбы просторны и удобны. Во время моего визита здесь проживали восемь из шестнадцати детей* возрастом от четырнадцати до тридцати лет и старше. И в доме, и вне его графиня выступала «боссом» всего хозяйства. Ее утренние указания беспрекословно выполнялись в течение дня. У нее были помощницы и, кажется, имелся управляющий, но последнее слово в хозяйстве оставалось за ней. Граф, похоже на то, не играл деятельной роли в управлении делами. Он писал, катался верхом, прогуливался и беседовал с гостями, которых было немало. Когда-то граф, видимо, работал в поле вместе с крестьянами, но в июле 1896 года никак не участвовал в их тяжелом труде – по крайней мере, лично мне не доводилось видеть его за крестьянской работой. Вторая его дочь, Мария Львовна (в те дни единственная из детей, решившаяся подвергнуть теории отца практическому испытанию) много работала в поле, чем существенно помогала крестьянам, если не матери. Она выучилась на фельдшерицу и исполняла обязанности местного врача; в грязной деревеньке с беспорядочно разбросанными домами, находившейся близ имения, она содержала маленькую аптеку. Благодаря ее добросердечию мне было позволено присоединиться к крестьянам на сенокосе и посетить их закоптелые лачуги. Разумеется, приятней было про-

водить время на теннисном корте в компании других детей графа, но работа на сенокосе была более здоровой и, в какой-то степени, более познавательной. Я заметил, однако, что мое присутствие чрезвычайно забавляло крестьян. К Марии Львовне они привыкли, она буквально выросла среди них, но я был человеком посторонним и знали они обо мне только ту малость, что рассказала им Мария. Очевидно, некото-



Лев Толстой и его дочери Мария (слева) и Татьяна

рые из них думали, что достаточно глупо предпочитать работу в поле теннису и прохладительным напиткам. Другие, вероятно, сомневались в искренности моих намерений – а именно, в стремлении ознакомиться с условиями их жизни и влиянием, которое оказывали на них альтруистические порывы Марии Львовны.

Должен сразу же заметить: мне не удалось установить, в чем заключалось это влияние, как и само наличие такого влияния. Без сомнения, Мария была желанным гостем на полях и в избах, но потому ли, что крестьяне верно толковали ее стремления, или потому, что она представляла для них коммерческую ценность как добровольный, бесплатный помощник? Как считала Мария, отдельные крестьяне разделяли ее взгляды и учение ее отца. Поскольку у меня не было возможности поговорить с ними наедине, не стану судить, обманывали ее крестьяне или нет.

Несколькими годами ранее она пыталась организовать независимую от приходской деревенскую школу, но в конце концов вынуждена была отказаться от этого плана ввиду сопротивления церкви. Тем не менее, в качестве деревенского врача и фельдшерицы, Мария могла беспрепятственно распространять свои верования среди крестьян, убеждая их следовать велениям собственной совести вместо церковных заповедей и военных приказов. Наибольший успех, мне кажется, сопутствовал ей среди мужчин, которые в России никогда не расположены платить налоги. Духовенство и армия должны содержать себя самостоятельно, без помощи крестьян – для них такие слова звучали нежнейшей музыкой. «Подумать только, на водку-то сколько денег останется!» – наверняка шептал не один Иван, когда Мария уговаривала крестьян не идти в солдаты и отказывать церковникам в финансовой помощи.

В одной избе, где мы побывали, Мария обратила внимание на несколько цветных портретов членов императорского семейства, висевших на стене. Картинки были вставлены в металлические рамы.

– Отчего, – воскликнула Мария, – нынче утром так много царей?

Рослый, дюжий крестьянин смущенно поглядел на нее, пробормотал, что виновата во всем жена, разом смахнул со стены портреты и отправил их в шкаф.

– Бабе нравится, – объяснил он. – Сниму, она опять повесит.

Мария считала, что крестьянин искренне отрекся от поклонения царю. Быть может, так и обстояло дело. Но я думаю, что он – как и многие другие крестьяне в имении – просто-напросто решил выдать себя за одного из обращенных, видя в том не столько духовное утешение, сколько денежную выгоду.

Дня за два до нашего визита, к примеру, этот крестьянин стащил графские дрова: если правильно помню, бревно, которое, как он рассудил, «графине не потребно». Управляющий заметил хищение и не то намеревался, не то уже успел доложить графине.

Мужик принялся упрашивать:

– Мария, скажи графине, я ж столько еще разного мог взять. Одно бревно – не грех, а?

Мария обещала ему помочь, и мы ушли. Крестьянин был счастлив: заступничество Марии казалось ему залогом прощения графини. Никто даже не вспомнил о необходимости вернуть бревно.

Лукавые крестьяне, несомненно, не раз злоупотребляли добротой Марии – ведь в мелочах мужик способен проявлять необычайное хитроумие. Но в ответ на высказанные мною подозрения она сказала:

– Пусть так. Кто станет ждать от таких людей честности во всем? К тому же, он признался в своем прегрешении. В своем духе, он хороший малый. Редко бьет жену и не слишком много пьет. Я верю, что нужно взращивать в нем эти добрые качества; если я вступлюсь за него, мне легче будет впоследствии направлять к добру его семью.

– Но мелкое воровство может войти у него в привычку, – возразил я. – И всякий раз он будет ждать, что вы станете просить за него.

– Возможно, но я предпочитаю так не думать, – завершила наш спор Мария. Так не раз происходило в моих беседах с нею, с графом и с теми из соседей, которых можно было назвать его «учениками».

В разговорах на общие темы, если не был задан прямой вопрос, их принципы и религиозные взгляды никогда подолгу не обсуждались. Они предпочитали не дискутировать, а жить в наиболее полном согласии со своими убеждениями. Помню, например, всего два или три случая, когда Мария согласилась поделиться со мной своими идеями улучшения мира, и то лишь потому, что я тогда настойчиво ее расспрашивал. День за днем она тихо уходила на сенокос, врачевала, лечила, а в свободное время любила играть в теннис.

Ее старшая сестра, Татьяна, воспринимала отцовское учение далеко не столь деятельно. В 1896 году она, по правде говоря, пребывала в нерешительности. Как-то Татьяна, смеясь, сказала мне, что верит только наполовину: «Может, полностью со всем соглашусь, когда стану старой, как отец». Татьяна казалась посвоему ничуть не менее счастливой, чем Мария. Впрочем, все дети радовались жизни, даже один из старших сыновей, который был военным и гордился своими цветастыми мундирами и изукрашенными портсигарами*. Что думала обо всем этом графиня, я так и не узнал. Лишь однажды у нас состоялся краткий разговор о графе и его трудах, причем она заметила следующее: «Здесь вы услышите многое, с чем я не согласна – я считаю, что лучше быть и совершать, нежели проповедовать». Судя по этим словам, толстовство как вероисповедание она не принимала. Но ее высокое мнение о графе как о человеке и муже было оче-

видно по тому заботливому вниманию, каким она его окружала.

Сам граф, хоть и отличался доступностью, во время моего пребывания в Ясной Поляне постоянно бывал чем-то занят, и только один или два наших разговора можно назвать настоящими беседами. Едва ли я мог внести значительный вклад в такие беседы, поскольку совершенно не понимал, о чем говорить с престарелым джентльменом – вернее, я о многом хотел его расспросить, но боялся, что не сумею найти правильные слова и задать те вопросы, какие ожидал бы услышать этот великий человек; шло время, и я ничего не предпринимал, лишь наблюдал и прислушивался к тому, что он высказывал сам. Разговаривали мы на английском и на немецком, в зависимости от того, что больше подходило к случаю.

Теперь, вспоминая минувшее и готовность графа обсуждать любые темы, я чрезвычайно жалею, что не расспрашивал его о литературной жизни и современных писателях. Главное, что вспоминается мне из его слов, посвященных этим предметам – высказывание о поэзии и о том, какое впечатление она на него производила. Мы сидели в музыкальной комнате, и кто-то заговорил о сравнительных достоинствах прозы и поэзии как средств выражения. Толстой предпочитал прозу.

– Поэзия, – произнес он, указывая на паркетный пол, – напоминает человека, который стал бы ходить по комнате зигзагом, ступая на квадраты паркета. Прежде чем куда-либо попасть, ему пришлось бы постоянно сворачивать и идти окольным путем. Проза, с другой стороны, вещь прямая: она устремляется точно к цели.

Однажды в послеобеденные часы, когда мы беседовали об Америке и американцах, Толстой вооду-

шевленно заговорил об Уильяме Дине Ховеллсе, Генри Джордже и покойном Генри Демаресте Ллойде*. Он сказал, что в мире есть четыре человека, которых ему очень хотелось бы свести вместе; по мнению Толстого, подобная конференция помогла бы уяснить, в чем нуждается мир. Если не ошибаюсь, среди кандидатов были названы м-р Ховеллс и м-р Ллойд.

Мне вспоминается только одна сугубо теологическая или, скорее, религиозная дискуссия. Мы гуляли в полях; весь день граф провел в доме своего друга, где правил Четвероевангелие. Беседа была довольно беспорядочна и перескакивала с одного на другое, пока не коснулась чудес – перед тем мы как раз обсуждали евангельские притчи.

Понять графа оказалось несколько затруднительно, и наконец я спросил:

– Что же с чудесами – ведь вы находите, что задача их просветительская?

– Нет-нет, – возразил он, – они лишь все запутывают. Притчи, напротив, кажутся мне ясными и назидательными. Чудеса придется убрать, но от притч мы никак не сможем отказаться.

Граф ни разу не поинтересовался моей верой. Вопрос этот, казалось, был ему безразличен; во всяком случае, если я довольствовался чем-то, во что верил, он не видел пользы говорить об этом.

Как-то днем в столовой он сказал: «Вижу, вы любите табак». В этом замечании не было ни критики, ни осуждения; он всего-навсего отметил факт.

– Мне нравился табак, – сказал он, глядя в пол, – и уходило у меня *очень много*. Позднее я понял, что табак для меня вреден, и бросил это занятие.

Видимо, отказ от прочих вещей, которые он «бросил» (в частности, спиртного и мяса) был продиктован той же простой причиной: они оказались вредны

для его здоровья. Религия, самоотречение ради самоотречения, желание «послужить добрым примером» и т.д. – все эти соображения, похоже, никоим образом на него не влияли. Говоря о наложенных на себя ограничениях, граф ни о чем подобном не упоминал и в случае табака честно признался, что, будь он моложе, «несомненно вновь позволил бы себе это удовольствие». Иначе говоря, согласно высказываниям Толстого, понятия здоровья в его вегетарианстве и попытках самостоятельного ухода за собой значили не меньше, чем религиозные убеждения. И все же, по словам одного достойного доверия человека, престарелый джентльмен очень сожалел, что в доме не могла воцариться та простая жизнь, которую он считал правильной. К примеру, он предпочел бы, чтобы за столом все сами обслуживали друг друга, и не прочь был бы избавиться от слуг графини вместе с их белыми перчатками. В быту он, насколько мог, старался прислуживать себе сам.

НЕСКОЛЬКО АНЕКДОТОВ О ТОЛСТОМ

Однажды Толстой пригласил меня переночевать в имении, и это приглашение может послужить хорошей иллюстрацией его поведения в Ясной Поляне (или того, как он хотел бы держаться). Я отправился поплавать с мальчиками на пруд, который находился примерно в четверти мили от дома. День клонился к вечеру, пора было узнать, предстоит ли мне ночевать у Толстого или в амбаре у соседа. Когда мы сушились и одевались, в кустах поблизости раздался голос: «Ми-истер Фли-инт, жена моя приглашает вас провести вечер с нами». То был сам граф, проделавший весь этот путь лишь для того, чтобы сообщить мне – его *жена* велела ему найти *меня* и передать не *его* собственное, а *свое* приглашение. Я навсегда запомнил лицо Толстого, выглядывавшее из ветвей: в его голосе и манере держаться чудилась повадка рассыльного. Никогда еще величие не являлось мне в столь смиренном виде. Один из друзей графа прямо сказал, что пожилому джентльмену пришлось немало потрудиться над собой, прежде чем овладеть подобным смирением и научиться его проявлять. Вероятно, многое нам раскроется, когда будут опубликованы дневники графа. Там, в Ясной Поляне, я смог лишь узнать, что Толстой весьма остро переживает кажущуюся непоследовательность своей жизни, тот факт, что ему не удается примирить свои альтруистические воззрения с ее повседневным течением. К досаде своей, несколько раз он проявлял едва ли не трусость. По ночам, когда никто не видел, он выбирался из дома и, точно бродяга, уходил в сторону Мо-

сквы, желая остаться наедине с собой. Но всякий раз, не успевал он уйти далеко, некий голос говорил ему: «Лев Николаевич, ты боишься. Ты страшишься мнения толпы. Неужели ты проповедуешь то, что сам не исполняешь? Ты пытаешься от всего бежать и пребывать в мире с собой, не заботясь о других.

Подумай о жене и детях, подумай о доме. Есть ли у тебя право бежать от всего этого, только бы выглядеть человеком последовательным? Разве нет у тебя обязанностей по отношению к жене и детям? Как можешь ты отбросить все, чем был для них и чем были они для тебя, ради собственного тщеславия – тщеславия, Лев, и ничего более? Само твое бегство тщеславно. Ты просто хочешь казаться таким, каким вообразил себя.

Назад, назад, назад! Вспомни о жене и детях. Вспомни, что не имеешь права заставлять их мыслить и жить, как хотелось бы тебе. Вспомни, что бегство есть трусость. Назад, Лев Николаевич!» И старик плелся обратно, возвращаясь к тяготам ноши гражданина.

Как-то вечером он заговорил о моих бродягах. Он спрашивал, почему я стал писать о них, как они живут, отчего я не продолжаю жить среди них. Я правдиво отвечал на его вопросы. Он погладил седую бороду и задумчиво поглядел на шахматную доску.

– Будь я моложе, – помолчав, сказал он, – отправился бы вместе с вами странствовать с бродягами по России. Много лет назад и я немало скитался с ними. Теперь я слишком стар – слишком стар, – и он провел руками по своим ревматическим ногам.

Покидая Ясную Поляну, я спросил соседа графа, в доме у которого ночевал, могу ли я что-либо сделать для него или графа во время своих путешествий. Мой железнодорожный билет оставался действителен еще несколько недель, и я подумал, что мог бы оказать Толстому какую-либо услугу. В ту минуту я никак не

подозревал, что мое предложение способно навредить ему, мне или любому другому. И в самом деле, м-р Брекенридж*, американский посланник в Петербурге, в дополнение к паспорту вручил мне открытое рекомендательное письмо, в котором аттестовал меня как честного американского гражданина и джентльмена и заранее благодарил за те дружеские одолжения, что могли мне быть оказаны. Но я никак не понимал, каким образом мог злоупотребить этим письмом, оказывая услугу, о которой просил меня граф – точнее, его сосед.

Когда пришло время уезжать, сосед графа протянул мне большой запечатанный конверт с письмами. Конверт этот я должен был доставить, по возможности, некоему князю Хилкову (если не ошибаюсь, племяннику тогдашнего министра путей сообщения*), который был на время сослан в деревню в балтийских провинциях, приблизительно в двухстах милях от Санкт-Петербурга. Мне ничего не было известно ни о князе, ни о том, чем он прогневал власти предержащие. Не стоит даже упоминать, что я не собирался задавать вопросы о содержании писем, ведь они были личными. Предприятие показалось мне не лишенным интереса, и я с готовностью согласился помочь. Оказавшись в Санкт-Петербурге, я посетил м-ра Брекенриджа и во время беседы с ним упомянул о своем поручении. Я сообщил посланнику, что Хилков находится в ссылке – в том смысле, что должен жить в определенном месте – и что, как мне кажется, он едва ли мог совершить что-либо серьезное; к этому я также добавил, что его дядя является одним из государственных министров. Нынче о прегрешениях молодого Хилкова мне известно лишь то, что он, как подозревали, чересчур тесно связался с духоборами* и дру-

гими более или менее запрещенными религиозными сектами на Кавказе.

Сперва м-р Брекенридж не увидел в данной просьбе ничего необычного и даже весьма любезно предложил мне официальную помощь: словом, он предложил открыто обратиться за правительственным разрешением посетить дом князя. Затем я упомянул о тайном пакете с письмами. Посланник тотчас изменился в лице.

– Не откажитесь отобедать со мной сегодня, – сказал он, – и мы обсудим эти письма.

Я так и сделал; встреча завершилась приказом вернуть пакет с письмами в Ясную Поляну. В то время подобная поездка казалась мне достаточно унизительной, но сегодня, вспоминая об этом, я не сожалею, что согласился с этим распоряжением.

– В письме на имя министра финансов, которое я передал вам в целях получения корреспондентского билета, а также в письме общего свойства, я рекомендовал вас российскому правительству и народу как джентльмена, – сказал посланник. – Если вы берете на себя секретные поручения такого рода, правительство вправе спросить, понимал ли я, что такое джентльмен, когда снабжал вас этими письмами.

Мне доводилось в свое время сносить различные оскорбления, и бродяжническая жизнь заводила меня в такие дебри унижений, какие известны одному только бродяге; но никогда я не чувствовал себя таким гадким и ничтожным, как на обратном пути из Санкт-Петербурга в Тулу, на железнодорожную станцию, где выходили гости, направлявшиеся в Ясную Поляну. Я заранее телеграфировал соседу графа о своем приезде и ожидал, что он встретит меня на вокзале. К своему удивлению, в Туле я обнаружил, что меня ждет сам старый граф.

– А! Ми-истер Фли-инт, – воскликнул он, когда я сошел с поезда и поздоровался с ним, – вы привезли мне известия от князя Хилкова?

Хотелось бы мне в то мгновение провалиться сквозь платформу – радостное ожидание, воодушевлявшее графа, казалось таким трогательным. У нас было лишь несколько минут, и я только и успел неловко выпалить правду, пытаясь в то же время принести свои извинения. Граф спокойно раскрыл конверт и поглядел на письма*.

– О, это не имеет значения, – сказал он, пожал мне руку и направился обратно к своему дому. Он не показался мне ни раздосадованным, ни смущенным. На лицо его набежала тень усталости, ведь он проделал верхом семнадцать верст – и это было все.



Несколько недель спустя один из «учеников» Толстого, рассуждая об этом эпизоде и моей роли в нем, высказал мнение, что я «струсил». Едва ли граф, что бы он ни думал, разделял это мнение. Но в тот миг,

когда он скакал прочь с письмами, небрежно засунутыми под рубаху, я многое отдал бы за то, чтобы узнать, о чем он размышлял. Помню в точности, о чем думал я – о том, что больше никогда, что бы ни выпало на мою долю, я не поставлю в неудобное положение человека, вручившего мне официальное письмо, которое рекомендует меня как джентльмена. «Нужно отказываться от таких писем», – говорил я себе, –- «и тогда уж самому судить, в чем заключается джентльменское поведение, либо заранее уяснить, что от меня ожидают».

Толстой, несомненно, с тех пор давно забыл об этой истории, но я о ней никогда не забуду. Она оставила у меня горькое чувство и в какой-то мере испортила впечатление от Ясной Поляны. Но чувство это ушло, и теперь я часто вспоминаю визит к графу и его семье – вспоминаю, как и тогда, когда уезжал в двуколке с вокзала. Помню, в ту минуту я виделся себе собакой, пойманной «на горячем» и убегающей с поджатым хвостом, однако с «горячим» в зубах. Этот визит, уж не знаю почему – быть может, благодаря гостеприимной доброте и умиротворенности графа и его окружения – казался мне, с моей бурной биографией, плодом настолько запретным, что я словно вернулся в детство и вновь ощущал себя мальчишкой, застигнутым в чужом саду. Чудилось нечто неправильное в том, что человеку, пережившему такие испытания, позволено было окунуться в атмосферу радушия и добросердечности Ясной Поляны. И все же я радовался, что дверь была мне открыта, и торжественно клялся не забывать об этом жизненном опыте. Не стану говорить, исполнены ли были мои клятвы с тем же пылом и воодушевлением, с какими я приносил их в 1896 году. Но одно воспоминание остается все таким же ярким и дорогим для меня: память о

графе и его стремлении направить жизнь в верное русло. «Если быть таким, как он, означает стать лицемером», – часто размышлял я, – «всем нам не мешало бы поскорее превратиться в лицемеров». Да, в чем-то он человек непрактичный; возможно, Толстой мечтатель; «книжный» реформатор – также не исключено. Но мое бесхитростное свидетельство о Толстом и его мире заключается в том, что никогда больше не доводилось мне провести десять дней в таком светлом и приветливом месте, как Ясная Поляна.

С РУССКИМИ ГОРЮНАМИ

I

Отправляясь в Россию, я вовсе не собирался бродяжничать. Я намерен был лишь посмотреть Санкт-Петербург и Москву, поработать немного на ферме графа Толстого в Ясной Поляне и затем, после короткого путешествия на юг, вернуться в Берлин. Все это мне удалось исполнить, как и было задумано, но еще я совершил путешествие с бродягами. Вот как это случилось. Не успел я приехать в российскую столицу, как бродяга сам попался мне на глаза. Мой друг встречал меня у поезда, мы вскочили в пролетку, и тут он указал на десятка два оборванных и жалких крестьян, тащившихся мимо нас в сопровождении полицейских.

– Вон идут *Goriuns*, – воскликнул он, – глядите скорее!

Достаточно было одного взгляда, и я сразу понял, что передо мной русские бродяги.

– Что же полиция будет с ними делать? – спросил я.

–А, у них, видать, нет паспортов и их вышлют обратно в родные деревни.

– И много бродяг в России?

Мой друг рассмеялся.

– Да их тысячи! Едва ли найдется деревня, где их не встретишь. Бродяжничество для России – один из самых насущных вопросов.

Вскоре я убедился, что невозможно было приблизиться к церкви, не столкнувшись с их назойливыми

приставаниями. Они стояли на ступенях и близ ворот каждого храма, куда я заходил, и просили подаяние, твердя: «*Radi Krista*». И даже в Ясной Поляне, в пятнадцати милях от ближайшего города и в нескольких минутах ходьбы от дороги, появлялись горюны. Я провел там десять дней и каждое утро в имение приходил по крайней мере один бродяга. Всем им, похоже, было известно учение графа Толстого и они являлись к нему в дом в полной уверенности, что здесь их хотя бы накормят. Всякий день они партиями по десять-двадцать человек проходили по дороге в некотором расстоянии от дома и часто устраивали лагерь на мосту, который я пересекал во время прогулок.

Постоянные встречи с бродягами и рассказы о них, естественно, возбудили мое любопытство; я стал подумывать о путешествии с ними. Я способен был вполне доходчиво объясняться по-русски и понимал большую часть того, что говорили мне. Главное, однако, заключалось в следующем – разрешат ли мне, иностранцу, совершить такое путешествие? Однажды я заговорил об этом с графом Толстым; я рассказал ему о своих приключениях в других странах и спросил его совета.

– Почему бы и нет? – по обыкновению радушно и приветливо отвечал он. – Конечно, вам будет трудно понять их наречие, и едва ли вам стоит ожидать, что вас примут за одного из них, но в остальном вы легко справитесь. Увидев ваши документы, полиция сразу поймет, что опасности вы никакой не представляете, а если что-либо случится, вам нужно будет лишь обратиться в Санкт-Петербург. Будь я моложе, и сам ушел бы с бродягами. Теперь я слишком стар. Когда-то я совершил долгое странствие и повидал жизнь, но вы, разумеется, увидите гораздо больше, коли уж направитесь прямиком к бродягам. Если решитесь на та-

кое путешествие, постарайтесь узнать, как они относятся к властям и верят ли в то, что называют своей религией. Было бы очень любопытно потолковать с ними об этом. Может статься, вы сумеете собрать кое-какие полезные сведения – но здесь, в России, напечатать их вам не позволят, – и он улыбнулся.

В конечном итоге я решился на небольшое пробное путешествие, и мне посчастливилось встретить московского студента, который согласился меня сопровождать. В свое время ему поневоле выпало бродяжничать в южных провинциях; желая изучить босяцкое сословие Витебской губернии, он согласился отправиться со мной – при условии, что свои исследования я начну именно там. К счастью, я также догадался привезти с собой костюм бродяги. Он уже служил мне в Англии, Германии и Италии и я трудился в нем на полевых работах в Ясной Поляне. Костюм выглядел чуть получше, чем обычная одежда горюна, но более ветхое тряпье я постеснялся бы надеть. Мой друг, студент, надел заплатанную университетскую форму наподобие тех, что носили все представители его класса в России, и тотчас напомнил мне портреты одетых в лохмотья солдат-юнионистов в тюрьме Либби*. В карманах у нас было немного денег, и мы не собирались просить ничего, кроме хлеба и молока, да и еду просить только тогда, когда потребовалось бы доказать, что мы – настоящие бродяги. Мы рассудили, что крестьянам, у которых нам придется просить милостыню, хлеб и молоко нужны куда больше; я рад сообщить, что ни один из нас во время этого путешествия и во время других, которые я проделал в одиночку, не просил ничего, за что не было бы заплачено.



Джозайя Флинт в «костюме» русского бродяги.
Санкт-Петербург (1897)

В числе верительных грамот, взятых нами с собой, имелись наши паспорта, некоторые университетские бумаги и рекомендательное письмо, полученное мною в Санкт-Петербурге у князя Хилкова, министра путей сообщения и связи. Письмо было адресовано директору Сибирской железной дороги, но я носил его при себе в виде удостоверения личности и оно неоднократно выручало меня в затруднительных обстоятельствах, хотя чиновники, которым я показывал письмо, никак не могли взять в толк, как это я, *Amerikanski* бродяга, располагаю таким всемогущим документом. Боюсь, иногда их одолевало искушение арестовать меня по подозрению в мошенничестве, но ни разу они на это не решились – везение, которое я объясняю своеобразием ситуации. Российская «система», очевидно, не была подготовлена к встрече с таким странным субъектом, и меня отпускали, считая невиданным исключением из правил.

Я бродяжничал три дня с московским студентом в Витебской губернии, между городами Полоцк и Динабург*, в скучной сельской местности, какие повсюду можно видеть на нашем Западе. Стоял теплый август, и солнце жарило нас с истинной русской свирепостью. Временами, чтобы избежать солнечного удара, мне приходилось спешно прятаться в тени деревьев. По ночам мы то спали под открытым небом, то устраивались в стогах сена или амбарах. Крестьяне неизменно зазывали нас под гостеприимный кров, как бывает со всеми бродягами, но мы не могли заставить себя разделить постель с кишевшими в избах паразитами. Зимой, с другой стороны, горюн рад возможности прикорнуть на печи, и мы, думаю, последовали бы его примеру, будь погода холодней. Но в те дни скитальцы, что нам встречались, большей частью



Ночевка на сеновале. Рисунок из книги Д. Флинта «Странствия с бродягами» (1899)

также спали под открытым небом, и компании нам было не занимать. Во время путешествия мы повстречали более двухсот бродяг; они передвигались партиями и семьями. Они вечно стремились разузнать, откуда я родом (этот вопрос обычно задают сразу после приветствия, «*Strassvuitye*»), и я всякий раз отвечал им правдиво. «Америка, Америка...» – повторяли эти простые люди. «Америка в какой губернии будет?» – имея в виду российскую провинцию. Мне никак не удавалось им растолковать, что Америка находится вовсе не в России, которой ограничивался их мир, но все же они называли меня «братец издалека» и, должно быть, считали новой разновидностью своего сословия. Меня никогда не посещало чувство, что они принимали меня как своего, – было бы странно, если бы так произошло, но они, во всяком случае, прозвали меня «братцем», а на большее я надеяться не мог. Они постоянно предлагали мне разделить с ними их скудные припасы, и очень скоро мне стало понятно, что встречи с ними едва ли могут грозить опасностью.

II

В России есть два рода бродяг: их сословие можно разделить на бродяг законных и незаконных. Первые – это так называемые религиозные нищие, их защищает церковь и терпит полиция; вторые – обычные бродяги. Именно в этих последних, с русской точки зрения, заключается все зло бродяжничества. Рели-

гиозные побирушки считаются неким привычным церковным классом, о них заботятся чуть ли не так же прилежно, как о священниках. Обычные бродяги, с другой стороны, видятся ненужной обузой, и со времен обращения России в христианство принимались законы и создавались учреждения, которые должны были их перевоспитать или искоренить. Считается, что в одной только европейской России число бродяг превышает девятьсот тысяч, тогда как в Сибири их класс составляет еще большую долю населения.

Бродяги называют себя национальным прозвищем – «горюны», то есть плакальщики или впавшие в горе. Это слово является их собственным изобретением, предположительно оно происходит от русского понятия *gore*, означающего печаль. На правильном русском языке их именуют *brodiagi*. Если спросить бродяг, отчего они не работают (а подавляющее большинство вполне способно трудиться), они ответят самым несчастным голосом, когда-либо достигавшим людского слуха: «Хозяин, горюн я – печальник». Их философия, по всей видимости, утверждает, что некоторые человеческие существа обречены жить в несчастьях и печали; к представителям данного сословия они и относят себя. На многих паспортах бродяг я видел различные пометки, как-то «погорел», «лишился всей родни», «дома не имеет», «скоро помрет», «жалостен духом» и так далее: они дают чиновникам взятки, чтобы те нечто подобное написали, либо же сами подделывают такие записи. Я без труда мог бы украсить и свой паспорт подобными пометками. Есть бродяги, которые превращают упомянутое ремесло в настоящий бизнес, и это еще одно свидетельство того, насколько трудно узнать правду даже из записей в паспорте. В Германии бродяги также практикуют такие фокусы, и в обеих странах бродяга может купить

поддельный пропуск, который полиция ни за что не распознает. В России я видел несколько фальшивок, выглядевших весьма похожими на настоящие бумаги и, соберись я выдать себя за русского, я в любую минуту мог бы за десять рублей купить подделку не хуже.

Внешний вид и одежда горюна до мельчайших деталей соответствуют той истории, что рассказывается в его бумагах. Никогда мне не приходилось видеть такие печальные лица, как у этих людей, когда они попрошайничают. Обладая довольно веселым и разбитным нравом, они принимают самый подавленный вид – и многие сохраняют этот облик даже в свои свободные часы. В остальном горюн напоминает простого крестьянина, *muzhik*. У горюна лохматая, грубо подстриженная по краям копна волос с пробором посередине. Лицо его обычно покрывает густая борода, которая придает горюну сходство с дикарем из лесной глуши, что далеко не всегда верно отражает его характер. К примеру, в Америке бродяги приняли бы их за «деревенщину», но они по-своему не менее умны и проницательны, чем американский хобо, который поднял бы их на смех. И в самом деле, мне не доводилось встречать хобо, сумевшего бы превзойти их в мимических трюках и умении притворяться, и если это умение требуется применить для удачного попрошайничества, они любого оставят позади. Одежду они носят всегда грубую и заплатанную; обзаведясь по случаю приличным костюмом, тут же отдают его в заклад или продают. Пальто заменяет обычная крестьянская рубаха или блуза, штаны заправляют в сапоги на крестьянский манер. У пояса висит чайник, через плечо переброшен узел со всеми их пожитками. Так они бродят по стране, год за годом, от деревни к деревне; их легко можно узнать, потому что, встречая *Gospodin* (джентльмена) или любого другого человека, у кото-

рого можно что-то выпросить, они снимают свои засаленные шапки, склоняют косматые головы и бормочут, «*Radi Krista*».

На большой дороге они проделывают в среднем миль пятнадцать в день, но многие не покрывают и пяти. Один старик на Курском тракте, между Тулой и Орлом, сказал мне, что довольствуется тремя верстами в день – верста составляет две трети мили – и что путь в Одессу, куда он направлялся, займет у него всю осень и часть зимы. В этом отношении горюны подобны любым другим скитальцам; они обожают отдых и, найдя подходящее место, остаются там как можно дольше. В деревенских местностях они селятся у крестьян, летом спят в стогах и шалашах, зимой в крестьянских избах. Хоть они и являются сущим бедствием, крестьяне неизменно их принимают, и в населенных областях бродяги редко умирают от холода или голода. В любой деревне, какую я проходил, я мог бы остаться надолго, и крестьяне даже защитили бы меня от полиции, находись я под их покровительством. Крестьянская жизнь настолько тяжела, что милосердие к бродягам свойственно им от природы, к тому же все они убеждены, что подобные благодеяния готовят им место в раю, который рисуется в их воображении. И впрямь, горюн играет на этих чувствах, выпрашивая милостыню. Часто я слышал, как они говорили, прося подаяние: «Там тебе воздастся» – и смиренные их друзья, казалось, счастливы были услышать это обещание.

Среди горюнов преобладают мужчины, но ни в какой другой стране мне не приходилось видеть столько женщин и детей «на дороге». Все они, мужчины, женщины и дети, составляют единую толпу, и не предпринимается особых усилий для того, чтобы сохранить в неприкосновенности хотя бы семьи. Бродяги

рассказывали мне, что в крестьянских хижинах почти не знают различий между крестьянами и бродягами и что в холодные ночи все они сбиваются в кучу на высоких печных кладках. В городах они проживают в домах для бедных и в ночлежках. В Санкт-Петербурге такие места находятся главным образом на так называемой «Сенной», кварталах в пяти за Казанским собором. Здесь целые проулки и дворы отданы горюнам, и в одном только доме Вяземского* каждую ночь спят более десяти тысяч бродяг. Они могут возвращаться на свои нары в любой час дня и говорят о них как о своем *dom* – домашнем очаге. За «место» на этих деревянных скамьях берут тридцать пять копеек (около двадцати центов) в неделю, деньги платятся вперед.



Единственное сохранившееся здание бывшей «Вяземской лавры» в Петербурге (современный вид)

Жизнь тут в целом такая же, как в любом другом ночлежном доме мира, но можно заметить и кое-

какие своеобразные особенности. Начнем с того, что в каждой комнате есть начальник или *ataman* горюнов; он располагает всеми правами и привилегиями громилы. Он самый сильный, самый дерзкий из босяков, и на сходках и советах все прочие позволяют атаману «исполнять всевышнего», как сказали бы наши хобо. Любой бродяга, который отказывается ему повиноваться, считается доносчиком или соперником – в последнем случае приходится сражаться на кулаках, а иногда и на ножах. Удачливый победитель занимает место атамана и сохраняет свое положение до тех пор, пока кто-либо другой его не свергнет. Если же горюна принимают за доносчика, все начинают его избегать, и мне рассказывали, что каждый год несколько подозреваемых в доносительстве бродяг расстаются с жизнью. Когда полиция собирается на облаву, атаман обычно узнает об этом заранее; стоит полицейским появиться, как бродяги тушат все огни. Полиции мало кого удается схватить – так, во время моего пребывания в Санкт-Петербурге ряд облав не принес никакого результата.

Другой странный обычай заключается в бережном обращении с обувью. *Schuhwerk* (как говорят немцы) повсюду ценится, возможно, гораздо выше любого иного предмета гардероба, но в Санкт-Петербурге у бродяг есть для того особые причины. Благодаря своим сапогам, горюн может получить работу факельщика или плакальщика на похоронах, а упомянутая работа считается очень выгодной. Бюро, ведающие похоронами, набирают из бродяжьего сословия определенное число плакальщиков для каждого погребения; таким образом ежегодно получают работу около тринадцати тысяч. Похоронные бюро обеспечивают подходящую одежду и носовые платки – собственно говоря, все, кроме ботинок, которые должны находить-

ся на ногах у бродяги, ведь иначе его не наймут. Перед похоронами бродяги собираются на Никольском рынке, где служащий бюро производит отбор. Отобранных препровождают в дом усопшего, и там, под навесом, в сарае или просто во дворе, десять, двадцать или тридцать бродяг, в зависимости от разряда похорон, полностью разоблачаются – даже в разгар зимы – и надевают наряды плакальщиков. Их одежду скатывают в узлы и относят на кладбище; там им предстоит снова ее надеть после церемонии. За такую службу каждому платят по сорок копеек, но с учетом чаевых и выпивки обычно набегает рубль. Когда горюны идут в похоронной процессии, уличные мальчишки Санкт-Петербурга кричат им: «*Nashel li*», подразумевая их факелы, которые горят при свете дня. Бывает и так, что мальчишки становятся чересчур дерзкими и разыгрываются забавные сцены – бродяги забывают о торжественности момента, бросают факелы и несутся за мальчишками, к негодованию служащих похоронного бюро и родственников покойного.

Но вот похороны закончились, монеты звенят в карманах, горюны возвращаются в ночлежку и проводят бурную ночь, распивая водку. Когда выпито все до капли, они без чувств валятся на нары; в такие минуты может показаться, что ночлежка превратилась в морг. Они лежат, точно мертвые, а вонь в комнате стоит такая, словно они и в самом деле разлагаются. В подобных обстоятельствах нетрудно заключить, что процент болезней и смертности среди них должен быть весьма высок, но мне кажется, что дело обстоит совсем иначе. Я видел некоторых искалеченных и увечных нищих, но в остальном они показались мне вполне здоровым народом, и нигде больше я не встречал таких Геркулесов. Многие из них, казалось, спо-

собны были поднять быка, а в одной из нескольких стычек, которые мне приходилось наблюдать, они награждали друг друга такими ударами, что сделали бы честь профессиональным боксерам. Подобные стычки, однако, случаются нечасто. Они чрезвычайно добродушны, что редкость среди людей настолько опустившихся; бродяги в Европе и Америке, обладай они такой силой, на каждом шагу испытывали бы крепость своих мускулов.

В ночлежках и крестьянских избах мужчины и женщины живут вперемешку и их никак не разделяют. Они говорят, что женаты или «семейны», и *Starosta* (хозяин) позволяет им держаться вместе. Их дети – а у каждой пары их полно – используются для попрошайничества; это настоящая козырная карта русского бродяги. И если дети увечны или искалечены, тем лучше.

Еда русских бродяг составляет, видимо, простейшее из известных европейским скитальцам меню. В пути они довольствуются в основном черным хлебом и молоком, и даже в городах лишь добавляют к этому рациону картошку. О мясе почти ничего не знают – им никогда не придет в голову потратиться на добрую отбивную; они предпочитают покупать водку. Конечно, попадаются исключения и из этого правила; во всех странах есть попрошайки, которые следят за новинками моды и позволяют себе деликатесы, но в России такие нечасто встречаются.

У горюнов имеется еще одна любопытная черта, а именно клановость. Практически во всех губерниях российской империи бродяги строго организованы, точно тред-юнионы, и даже в Санкт-Петербурге, где полиция весьма сурова, у них устроена своеобразная *artel*. Вступить в одну из таких корпораций я не мог: пришлось бы безропотно подчиняться какому-нибудь

атаману или громиле, а этого я делать не хотел. Потребовалось бы также овладеть различными диалектами, в то время как мой русский словарь был достаточно ограничен. Каждая артель говорит на особенном жаргоне и выучить его, пожалуй, не менее трудно, чем собственно русский. Коренным жителям страны мало что известно о подобных наречиях, и студентам, путешествовавшим со мной, было так же сложно понять речь бродяг, как и мне. По счастью, бродяги говорят также по-русски, и мы могли беседовать с ними на этом языке. Я расскажу здесь то, что узнал о различных артелях, но рассказ мой нельзя считать исчерпывающим. О многих я даже не слыхал, и понадобится целая книга, чтобы описать их все.

Одним из кланов, которые пользуются особенно дурной славой в Москве, являются «*Gouslitzki*» или «Староверы»; родом они из окрестностей Богородска*. Они смешиваются с обычным рабочим населением и на посторонний взгляд ничем не выделяются, однако промысел у них целиком и полностью криминальный. Они печатают фальшивые ассигнации, подделывают паспорта и свидетельства о крещении, попрошайничают, воруют, так что полиции приходится неустанно за ними присматривать. Для видимости они изготовляют разные побрякушки, цветные картинки и игрушки, но все это только предлог для того, чтобы получить разрешение стоять на тротуарах, изображая уличных торговцев и лоточников. В своих ночлежках – есть несколько ночлежек, населенных только ими – они живут под управлением начальника, которому обязаны подчиняться, а некоторая часть их дневного заработка откладывается в общую казну. Время от времени этот фонд делится поровну между всеми, но почти сразу же деньги возвращаются в казну как «возобновленный пай». *Gouslitzki* отличаются от боль-

шинства представителей своего сословия крайней бережливостью; как рассказывают, пьют они очень мало, а некоторые и вовсе воздерживаются от спиртного. Говорят они на двух языках: на русском и на жаргоне, который у них играет роль чуть ли не родного языка*. В Москве они обосновались давным-давно и городской полиции никак не удается их изгнать.



Деревенские жители у дома разбойника Чуркина в дер. Барская Богородского уезда. Брат разбойника стоит у колодца. Любительское фото нач. XX в.

«*Chouvaliki*», еще одна известная шайка* – это в основном крестьяне, но они также происходят из Московской губернии и живут в окрестностях Верейска и Можайска. В Америке было бы чрезвычайно странно увидеть фермеров, которые отправляются попрошайничать и грабить, но в России так и происходит, и *Chouvaliki* именно таковы. В российской переписи они

записаны крестьянами и в самом деле притворяются, что часть года работают, но от Москвы до Дона их знают как нищих. Они отправляются в путь дважды в год и предпочитают совершать набеги на Тамбовскую, Воронежскую и прочие губернии до самого Дона. Русские называют их грабителями и пересказывают ужасные истории о различных разбойных нападениях, но горюны считают *Chouvaliki* простыми попрошайками, и мне кажется, что они правы. Вернувшись из своих путешествий, которые длятся до нескольких недель, они могут во время оргии единым махом спустить все собранные деньги.

В Белоруссии и прежде всего в Витебской губернии, которая лежит севернее, бродяги организуют сообщества побирушек. Когда я странствовал по Витебской губернии, мне повсюду о них рассказывали; эти области порождают главную массу криминального населения Санкт-Петербурга. На богатой Украине попрошайки также пользуются дурной славой. В Харькове, к примеру, я попал в их логово, которое называется «*Tchortoff Gniezda*» или «Гнездо дьяволов». Они живут там в грязных маленьких хибарках и подземных пещерах; у этой общины имеется атаман и совместная казна. Утром они отправляются попрошайничать, а вечером возвращаются и устраивают дебоши, причем те, что оказались удачливей, приглашают на праздник своих *rakli*, или дружков*. Происходит тщательный раздел всей дневной добычи и каждый получает свою долю, за вычетом той части, что отдается в общую казну.

В Казани, татарском городе на Волге, существует артель нищих, чья история восходит к временам взятия Казани Иваном IV; они известны по всей России как «*Kazanskia Sieroty*»*. Хоть они и мусульмане, но попрошайничают «Христа ради». Они выпрашивают по-

даяние даже у других нищих, если только те не состоят в их организации, и любого, кто не принадлежит к числу «Сирот», считают своей добычей. Их можно сравнить лишь с бродягами, которые побираются в Самарской и Саратовской губерниях, а также с теми, что населяют пятнадцать деревень в окрестностях Саранска и Инсарска в Пензенской губернии. Последние официально записаны крестьянами и разделены на организованные нищенские корпорации; они называют себя «*Kalousni*», что происходит от их жаргонного слова *kalit**, означающего «снимать урожай» или, в их понимании, «просить подаяние». В Москве, с другой стороны, общее диалектное обозначение для нищих – «*Zvonary*», происходит оно от *zvonit*, что также означает «просить милостыню».

Kalousni или «Жнецы» отправляются попрошайничать сразу после окончания жатвы. Все способные передвигаться, за исключением самых старых и молодых, уезжают в телегах «на работу», как это у них называется. Те, у кого нет слепых или увечных детей, нанимают их в соседних деревнях. Центром этого промысла является деревня Акшенас, куда крестьяне посылают на продажу своих калечных детей. В деревне Галицино, в Пензенской губернии*, на триста дворов имеется пятьсот нищенствующих крестьян; в деревне Акшенас со ста двадцатью дворами лишь четверо жителей не принадлежат к «Жнецам», тогда как в Ермаково, еще одном местном селении, все обитатели поголовно отправляются *kalit* (попрошайничать). Возвращение этих ватаг домой отмечается пиршествами и оргиями. Главный их праздник устраивается в Михайлов день, 8 ноября, и в этот день они тратят все собранное до копейки. Следующая поездка совершается зимой, возвращаются они к Великому посту. В

третий раз они возвращаются домой к Троицыному дню.

В Сибири я не бродяжничал, но наслушался немало рассказов о тамошних бродягах, когда пересекал сибирские просторы. Они организованы не так строго, как в европейской России, – многие путешествуют совершенно одни, – однако же я слышал и видел, что они делятся на несколько категорий. На дороге межу Екатеринбургом и Тюменью к путешественнику пристают нищие, известные как «*Kossoulinki*»*. Живут они одним только подаянием и летом спят под открытым небом на тракте между двумя упомянутыми городами. В Екатеринбурге имеются также безымянные отряды, состоящие из молодых мужчин и маленьких мальчиков и девочек, которые постоянно выпрашивают милостыню у жителей. В большинстве своем это дети ссыльных преступников или крестьян, изгнанных голодом из близлежащих областей.

Попади я в лесистые местности Сибири, я мог бы познакомиться и со странным плодом сибирской тюремной жизни, беглым каторжником-бродягой. Ранней весной он устремляется к свободе, по пути получая иногда смертельную пулю. Но время от времени побеги удаются: каторжник бежит в леса и живет там до осени, а затем, если не надеется добраться до европейской России, сдается властям и снова возвращается в тюрьму. Весной, «когда птицы зовут», как говорится в одной жалостной его песне, он вновь убегает в леса. Лишь по ночам он осмеливается пробраться в деревню, и то только на минутку – его манит еда, оставленная на подоконнике сердобольными крестьянами. Он хватает хлеб или другую провизию, которую ему оставляют, и стремглав удирает в лес, точно волк.

III

Религиозные нищие в России представляют собой совершенно отдельное сословие. Подавая им милостыню, типичный русский считает, что таким образом облегчает себе путь в царствие небесное, и сами они, конечно, не спешат разуверять его в этой тщеславной мысли. Подайте им рубль – и они готовы будут поклясться, что вы очутитесь в раю, и даже двадцать копеек вполне увеличивают ваши шансы.

Легче всего отличить мирского религиозного нищего. Он всегда попадается вам на глаза у церквей Санкт-Петербурга и Москвы, и любой, кто побывал в этих городах, без труда его вспомнит. Обычно это престарелый крестьянин, собирающий пожертвования на нужды деревенской церкви; полиция или церковные власти снабжают его необходимыми пропусками и документами с печатями. Он стоит с непокрытой головой у церковных врат или возле какого-либо святилища и держит в руке блюдечко, на котором лежит ткань с вышитым на ней крестом. Блюдечко везде служит ему *passe-partout* или отмычкой: под этим предлогом он появляется в ресторанах, на железнодорожных вокзалах и в других общественных местах. Как сказал мне один русский джентльмен: «Нельзя прогнать человека с крестом в руке»; поэтому такому нищему позволяется входить туда, куда ему только заблагорассудится. К несчастью, ему не слишком трудно подражать, и в России немало горюнов, которые выдают себя за религиозных нищих. Они подделывают нужные бумаги, покупают тарелочку и крест и попрошайничают во всю мочь. Иногда их обман раскрывается и их сурово наказывают, но доход от подобного

нищенства настолько соблазнителен – порой до десяти рублей или пяти долларов в день – что они готовы идти на риск. Имеются также нищенствующие монахи, которые действуют так же, как миряне, однако надевают монашеские рясы. Поэтому обычному бродяге не так-то легко выдать себя за монаха, но и такое бывало.

Хотя эти монахи располагают официальными разрешениями, у них нет насущной необходимости просить подаяние, ведь почти все их монастыри богаты. Но чем богаче они, тем больше хотят заполучить, так и что и бедные, и богатые заведения посылают монахов на сбор пожертвований. Рассказывают занятную историю о том, как один из таких монастырей был избавлен от излишков роскоши. Во время Крымской войны Николай I занял десять миллионов рублей у киевской Лавры, оставив взамен расписку, подобно любому смертному. После восшествия на престол Александр II совершил путешествие по провинциям и в частности посетил Киев, где, согласно обычаю, сразу же отправился в Лавру. Митрополит и священники встретили его во всем своем великолепии и во время торжественной церемонии поднесли на прекрасном блюде расписку Николая – в рассуждении выплаты долга, разумеется. Александр взял листок, внимательно прочитал написанное и, высоко подняв бумагу, торжественно произнес: «Узрите трогательное доказательство патриотизма духовенства российского в час нужды! Лучшей благодарностью моей станет сия блистательная памятка, собственноручно подписанная моим августейшим отцом». Тем дело и закончилось.

Паломники представляют собой иной тип религиозных нищих. В основном это также пожилые крестьяне, которые дали обет отправиться пешком к к-

акой-либо отдаленной святыне, нередко находящейся на расстоянии тысячи миль. Денег они берут с собой ровно столько, сколько понадобится на свечи, которые они ставят у алтарей в храмах, где молятся по пути; в отношении еды и ночлега они полагаются на милосердие встречных. Ни один крестьянин не откажет им в гостеприимстве, и их повсюду радушно принимают. Им никогда не предлагают милостыню, так как известно, что денег они не возьмут. Им нужно лишь немного еды, чтобы душа не рассталась с телом, и это они без стеснения просят.

Подобные паломничества – весьма частое явление в России, и всегда причиной их выступает обет, иногда достаточно давний. У каждого знаменитого монастыря, будь то Соловецкий у Белого моря, Троицкий близ Москвы или Лавра в Киеве, есть свои дни «великого отпущения», которые влекут паломников с самых дальних окраин империи. Они всегда путешествуют пешком, по временам собираются в партии, но характерный паломник – одиночка. Бывает, бредет такой странник далеко, в самый Иерусалим. Среди паломников часто встречаются благочестивые монахи, для которых это странствие становится последним деянием жизни, посвященной церкви. Крестьяне кормят паломника и предоставляют ему ночлег, и для них он выступает одним из главных предметов поклонения.

В числе законных нищих в России имеется еще одни класс, а именно монашенки. Эти женщины, в длинных рясах с остроконечными капюшонами, обычно путешествуют вдвоем. Подаяние они просят по так называемой «договорной системе». Они заключают соглашение с монастырем, по которому им разрешается просить милостыню в определенных местностях; взамен они отдают монастырю уговоренный процент денег, а все сверх этой суммы остается лично им. Они

облагаются такими налогом в соответствии со своими способностями; процент составляет от рубля до трех рублей в день. Когда они молоды и хороши собой, что иногда случается, собрать им удается немало. Один русский, который часто им подавал, сказал мне: «Хорошенькой женщине медный грош не протянешь». Они прекрасно умеют пользоваться своими чарами. Им известны все «доходные места» и они быстро учатся распознавать щедрого дарителя. Нет сомнения, однако, что нередко им подают без всяких помыслов о церкви или религии, и в России хорошо известно, что среди них распространена испорченность нравов. Мне несколько раз приходилось видеть монашенок в состоянии опьянения, и поведение их отнюдь не соответствовало религиозному призванию.

IV

Остается сказать несколько слов о причинах бродяжничества в России и о том, что делается для его искоренения. Религиозных нищих я обсуждать не стану, потому что они не считаются частью проблемы бродяжничества. Сословие горюнов – вот от кого особенно стремятся избавиться русские, и именно они соответствуют бродяжьему сословию в западных странах.

Главной причиной их падения является любовь к спиртному. Две трети мужчин и женщин могли бы сделаться уважаемыми людьми, если бы избавились от страсти к выпивке – но покуда это не произойдет, мне не видится никакой возможности для их исправления. Будучи религиозны, они крадут даже из церквей, когда ими овладевает жажда водки; как работ-

ники они совершенно бесполезны. Среди бродяг Санкт-Петербурга немало бывших механиков и поденных рабочих, которые прекрасно умеют заработать себе на жизнь, но теряют место за местом из-за своих дурных привычек. Получив недельный заработок, они тут же спускают все деньги на выпивку, после чего их выгоняют.

Помимо этих, исключительно частных причин, создавшееся положение могут объяснить некоторые экономические факты. Снижение железнодорожных тарифов привело к настоящему исходу крестьян в города – где, как им представляется, их ждет богатство и процветание. Нам в Америке кажется, что судьбу отверженных можно изменить, если удастся вернуть их в сельские районы и поселить на фермах, но Россия вполне убедительно доказывает, что одного этого недостаточно. Помимо деревенского воздуха и окружения, требуется еще что-то, что способно было бы перевесить все приманки и соблазны города. Российская жизнь показывает, что крестьянин, раз отведавший от этих соблазнов, никогда вновь не станет счастлив на ферме.

Власти ежегодно высылают из Санкт-Петербурга свыше семи тысяч крестьян-бродяг, но еще большее их число возвращается обратно. Известен случай, когда человека высылали сто семь раз, и всякий раз он возвращался. Учитывая, что большинство высланных перед отправкой домой снабжают новой одеждой, легко увидеть, каким бременем они являются для города (при том, что почти все они сразу же продают свою новую одежду). Такова одна из основных слабостей всех российских методов борьбы с бродяжничеством. Полиция возвращает бродяг в деревни, надеясь, что это отдалит их от соблазнов города, однако полицейские не могут удержать их в деревнях. Как только им

выпадает возможность, они бегут обратно в города, и вновь приходится тратиться на их высылку. Не так давно несколько губернаторов внутренних провинций обратились к полиции с просьбой не высылать бродяг, поскольку вернувшиеся разлагают своих деревенских товарищей.

Помимо высылки бродяги в родную деревню, существуют и более легкие наказания. При первом аресте в Санкт-Петербурге, бродяга предстает перед комиссией, которая допрашивает его и передает в ведение особого комитета, где снова происходит перекрестный допрос. Если бродяга сумеет доказать, что к нищенству его толкнуло одно только бедственное положение, его отсылают в организацию по призрению бедных на месте жительства. Если такой бродяга уже попадал несколько раз под арест, его немедленно ведут к судье, который назначает наказание: от месяца до трех месяцев тюремных работ, в зависимости от обстоятельств. Но это касается лишь бродяг, пойманных, так сказать, на горячем и имеющих удостоверение личности. Беспаспортные остаются в ведении полиции. Когда против них ничего не имеется и кто-либо готов выступить поручителем, их отпускают; в таком случае они должны запросить паспорт из родных мест и, получив его, могут оставаться в городе три месяца. В случае примерного поведения срок освобождения на поруки может быть продлен до девяти месяцев, однако после этого, за вычетом крайне убедительных причин, бродяга обязан вернуться в родную деревню.

Имеются реформатории и благотворительные учреждения на филантропических основах, занятые исправлением бродяг. Не так давно в крупнейших городах России был создан ряд рабочих домов, и на эти похвальные начинания возлагаются большие надеж-

ды. Нынешняя императрица приняла их под свой патронат; есть все основания полагать, что они получат достойную поддержку. Таким образом, прилагаются усилия к тому, чтобы обеспечить каждого бродягу возможностью трудиться; здесь, в этих испытательных лабораториях, горюн может показать, на что он способен. Он не обязан поступать в рабочий дом, но если окажется, что он знал о таком доме и продолжал нищенствовать, его ждет суровое наказание.

Принимают как мужчин, так и женщин, и они могут своим трудом заработать себе на хлеб. Ночлег приходится искать в другом месте, но детей можно днем оставлять в яслях при работном учреждении. Честь создания первого рабочего дома принадлежит отцу Иоанну Кронштадскому*, однако лишь в самое последнее время они приобрели известность. При условии подобающего управления они могут совершить немало полезного; главный вопрос в России, как и везде, состоит в том, кто действительно является нуждающимся, и рабочие дома вполне могут помочь это установить. Пока неизвестно, насколько они преуспеют в сражении с профессиональным бродяжничеством в стране. Если полиция – всем известно, какой властью располагает российская полиция – не способна с этим справиться, стоит ли ждать многого от рабочих домов? Ничто, боюсь, не может полностью уничтожить этот класс в России. Сословие это слишком давнее, слишком укоренившееся, оно не сдастся без долгой борьбы, а в сердце каждого русского живут традиции, которые всегда будут помогать делу горюна. Русский князь, с которым я обсуждал возможность полностью избавиться от бродяг, заявил мне: «Об этом не может быть и речи. Мы все бродяги, все и каждый из нас. Аристократ, словно милостыню, выпрашивает улыбку царя, другие просят о почестях, должностях, денеж-

ной помощи и пенсиях, и эти побирушки – самые настойчивые из всех. Россия – страна подачек *na chai** и никакие законы или императорские указы не смогут ее изменить».

Я ВСТРЕЧАЮСЬ С ГЕНЕРАЛОМ КУРОПАТКИНЫМ

От графа Толстого и Ясной Поляны далековато до генерала Куропаткина и Центральной Азии, но, вспоминая людей и нравы России, мне хотелось бы рассказать здесь о поездке в Центральную Азию осенью 1897 года. Причины поездки вновь были журналистскими, и я снова являлся гордым обладателем пропуска, позволявшего мне путешествовать по всем российским государственным железным дорогам, а не только частным линиям, как годом ранее. За этот второй пропуск мне следует благодарить князя Хилкова, министра путей сообщения. Он весьма заинтересовался моими странствиями и, узнав, что я подумывал о поездках в отдаленные области России, любезно вызвался попросить для меня у царя права трехмесячного свободного передвижения, «имея целью способствовать моим исследованиям». Когда вожделенную бумагу наконец доставили, я прочитал: «с императорского дозволения». Процедура, как мне показалось, сопровождалась множеством излишних бюрократических препон, но князь Хилков лично заверил меня, что должен по всей форме обратиться к царю. Возможно, он был прав, но бедному царю есть чем заняться, особенно в нынешние дни, и дел у него побольше, чем должно выпадать простому смертному. Видимо, трудится он слишком много, раз уж ему приходится заниматься подобными мелочами. Не удивлюсь, если его подстрелит какой-нибудь анархист. Ни единый железнодорожный начальник в Соединенных Штатах не смог бы совер-

шить и доли того, чем якобы занимается царь на железной дороге, а ведь он к тому же управляет громадной страной, национальной церковью и крупнейшей в мире армией. Поэтому императорское дозволение не произвело на меня должного впечатления: полагаю, царь всего лишь кивнул головой или черкнул пером в ответ на просьбу князя Хилкова о пропуске.

Я видел царя за год то того, сразу после его коронации в Москве. Император вернулся в Санкт-Петербург после ужасных событий на Ходынском поле в Москве, где тысячи мужчин, женщин и детей ринулись за коронационными кружками и были затоптаны насмерть в безумной давке. Ходили темные слухи о том, что давка была вызвана намеренно и что определенные чиновники, которые должны были снабдить толпу кружками и напитками, вступили в сговор с поставщиками, так что запаса этих товаров оказалось куда меньше необходимого, а излишек денег, уплаченных за поставку, пошел в карманы бесчестных чиновников и купцов. Иными словами, поговаривали, что давка представляла собой часть заранее продуманного плана, который должен был скрыть эти дьявольские махинации. В России обвинениями во взяточничестве и продажности разбрасываются настолько часто и беспорядочно, что истину нечасто удается установить. Правду или нет говорили о той сделке, на лице царя, катившего по Невскому проспекту по возвращении из Москвы, застыло такое унылое выражение, что можно было поверить любому слуху. Мое окно выходило на проспект прямо напротив Думы или муниципалитета – там царь и царица во время подобных торжеств принимают хлеб и соль у отцов города. Хороший стрелок в эту минуту без труда снял бы царя.

Более уставшего, понурого, желчного монарха, чем Николай во время проезда по Невскому, мне никогда не доводилось видеть. По окончании церемонии царя с супругой спешно повезли в Зимний дворец, в то время как они вяло кланялись направо и налево. «Незначительный он какой-то» – перешептывались стоявшие рядом у окна, и слово это резюмирует как внешность царя, так, боюсь, и его важность.

* * *

В 1897 году царем российской Центральной Азии был генерал Куропаткин* – солдат, в настоящие дни похоронивший, похоже, свою репутацию в качестве главнокомандующего в Манчжурии. В те годы он считался одним из самых одаренных и известных генералов русской армии. Куропаткин являлся также суверенным «боссом» области, находившейся под его управлением. Когда визит нашей партии приблизился к концу и мы собрались покинуть Центральную Азию, два или три восторженных британца решили, что нужно отправить царю благодарственную телеграмму от нашего имени. Куропаткина спросили, разумно ли будет так поступить. Сам я не был при этом, но один из присутствовавших рассказал мне, что Куропаткин ответил: «Какая от того польза? Здесь я представляю царя и передам ему ваше послание». Телеграмму все же отослали, воспользовавшись помощью британского посольства; впоследствии, как водится в подобных случаях, мы узнали, что царь – говоря в переносном смысле – только и думал о том, как сделать наш визит в пределы империи еще более очаровательным и увлекательным.

Наша группа первой получила разрешение посетить российские владения в Центральной Азии. По сути дела, поездка являлась коммерческим мероприятием, затеянным лондонским туристическим агентством, но благодаря своей уникальности в истории Центральной Азии и гостеприимству генерала Куропаткина приобрела такое социальное и политическое значение, какое обычно не придается рядовым путешествиям. В последний момент туристическое агентство собрало тридцать с лишним британцев и двух одиноких американцев – меня и леди из Южной Каролины, которая, узнав по случаю в Самарканде, что находится буквально напротив Чарльстона (Южная Каролина), радостно воскликнула: «Как мило!». Британское министерство иностранных дел упросили обратиться к российскому военному министерству за разрешением посетить запретную территорию – запретную в том смысле, что для посещения ее и пересечения Каспия требовался особый паспорт из военного министерства. По крайней мере, так рассказывали в те дни, и англичане охотно этому верили, ведь русские довольно-таки энергично продвинули свою южную границу к Афганистану и Индии. Очевидно, англичанам казалось, что русские боялись показать, чем именно они (русские) занимаются по свою сторону афганской изгороди. Российское военное министерство связалось с Куропаткиным в Ашхабаде; его спросили, опасается ли он знакомить британцев с положением на русской стороне. «Пусть приезжают», – отвечал Куропаткин.

Я пересек Черное море, проплыв от Севастополя до Батума, и присоединился к остальным в Тифлисе. На пароходе находились двое из англичан. Однажды вечером мы расположились в курительном салоне. Англичане беседовали друг с другом с подчеркнутым

британским акцентом; я невольно слышал некоторые фразы и лишь пытался не замечать сквозившую в их словах убежденность в том, что Британия «владеет миром». Один из британцев решил, что я – русский шпион. Он поглядывал на меня так, словно я не имел никакого права находиться на корабле, который имел честь везти его особу. Беседуя со своим другом, он также отпускал пренебрежительные замечания в мой адрес. Позднее я узнал, что этот англичанин представлял лондонский «Стандарт». Он написал в свою газету несколько писем о поездке и как-то попытался даже отправить сообщение об интервью, взятом газетными корреспондентами у Куропаткина в Ашхабаде. Мне говорили, что лишь немногие его статьи дошли до Лондона. Редко мне приходилось встречать человека, который относился бы ко всему и вся с такой подозрительностью.

Куропаткин принял нас в Ашхабаде, российском административном центре. Не знаю, как генерал выглядел и действовал во время русско-японской войны, но в Ашхабаде он во всем казался *бравым* солдатом. Я намеренно употребляю слово *бравым*: у него были глаза сыщика, самообладание шефа сыскной службы и сложение человека, способного вынести куда больше трудностей, чем предполагала ловко сидящая на нем генеральская форма. Со времен японской войны ходят слухи, что Куропаткин вор – или взяточник, если это звучит более приемлемо. Некоторые утверждают, что на войне он заработал пять миллионов рублей. Но то, что говорят некоторые люди в России и, с сожалением должен заметить, также вне ее (по крайней мере, в сообщениях для американских газет) - не более чем сплетни. К счастью, русские понимают, что такое сплетни, и попросту отмахиваются от них. К несчастью для читателей американских газет, отдель-

ные корреспонденты не прилагают ни малейших усилий, чтобы отличить сплетни от фактов.



Ген. А. Н. Куропаткин в период русско-японской войны

Наша партия провела в общей сложности семнадцать дней в вотчине Куропаткина или в Транс-Каспии, как официально называется эта область. Мы проживали в особом поезде и останавливались в различных примечательных местах на несколько часов или же, если того требовали обстоятельства, оставались там на ночь. Поездом «командовал» полковник. Дипло-

матической стороной путешествия ведал представитель министерства иностранных дел, приписанный к штабу Куропаткина.

Благодаря усилиям многочисленных путешественников и писателей, включая и нашего соотечественника, военного корреспондента Мак-Гахана*, Транс-Каспий больше не является той *terra incognita*, какой был лет сорок-пятьдесят назад. Поэтому мне, лишь мельком посетившему эти места, следует ограничиться только простым перечислением: наша партия проехала из Красноводска в Самарканд и обратно; мы побывали в Геок-Тепе, Мерве, Бухаре и на реке Оксус*. В 1897 году Геок-Тепе представлял собой развалины, оставленные Скобелевым и Куропаткиным, чьи войска уничтожили свыше двадцати тысяч туркоманов* – мужчин, женщин и детей. Осада этого форта продолжалась целый месяц, хотя у туркоманов имелись лишь устаревшие средства обороны. Еще до завершения российской кампании Скобелеву пришлось начать строительство нынешней Транскаспийской магистрали, которая должна была обеспечить припасами его войска. Куропаткин служил при нем начальником штаба. Они отправились на войну с туземцами, лелея мысль, что одна решительная взбучка навсегда научит туркоманов повиновению. Резня в Геок-Тепе оказалась весьма наглядной; сегодняшние туркоманы – народ недалекий и останутся покорны по крайней мере до тех пор, покуда русские будут в состоянии производить на них устрашающее впечатление. Скобелев давно умер, а Куропаткин, другой «мясник», как его называют, пребывает в опале.

Я неоднократно встречался с этим военным и беседовал с ним; наиболее любопытный эпизод имел место в Ашхабаде во время религиозной службы под открытым небом, в день святого Георгия. Молебен

проводился ранним утром, однако мужчины из нашей группы должны были явиться на службу во фраках. Детали церемонии были обычны для греческой православной церкви и представляли интерес разве что для тех, кто никогда раньше не присутствовал на таких молениях. Меня же гораздо больше заинтересовал низкорослый, плотный генерал, стоявший с непокрытой головой на ковре, поблизости от священников. Целый час Куропаткин простоял по стойке «смирно», не дрогнув, насколько я мог видеть, ни единым мускулом. Я решил (и с тех пор придерживался этого мнения), что он одарен невероятной настойчивостью – что только подтверждается упорством, с каким он отступал в Манчжурии.

Наиболее содержательная беседа с Куропаткиным состоялась однажды утром, когда трех корреспондентов, включая и меня, вызвали в правительственную резиденцию в Ашхабаде, где для нас был устроен официальный прием. Генерал сидел за большим письменным столом, заваленным брошюрами и документами. Нам, журналистам, предложили расположиться на стульях. Слева от нас стоял переводчик (Куропаткин не говорил ни по-английски, ни по-немецки).

Сообщив нам кое-какие сведения о российской оккупации Транс-Каспия, Куропаткин продолжал:

– Я хочу, чтобы вы знали: наши намерения являются в высшей степени мирными. Земель у нас достаточно. Мы стремимся облагородить наши владения. По всей российской Центральной Азии можно путешествовать без оружия.

Я подумал о Геок-Тепе. Несомненно, Куропаткин считал, что эта бойня навечно усмирила туземцев.

– Мы стремимся к экономическому миру и процветанию.

Так он заключил свою речь, переданную нам переводчиком. Говорил ли он правду? Никто из корреспондентов не смог бы ответить на этот вопрос.

Мне показалось, что генерал пытался поведать нам официальную версию предполагаемой правды и что, выказав способности мясника, он гордился теперь своими достижениями в роли военного администратора. С тех пор мне нередко приходило в голову, что если бы с Филиппинами решили разделаться быстро*, в российском стиле, Куропаткин сумел бы отлично справиться.

Без титулов, просто как человек, он мне одновременно и нравился, и отталкивал.

Я спросил, помнит ли он Мак-Гахана, американского военного корреспондента. Генерал бросил на меня внимательный взгляд, точно все еще слушал молебен в день святого Георгия, и сказал: «Мне приятно слышать, что вы упоминаете это имя. Я хорошо его знал».

Я попросил переводчика узнать у генерала, не может ли он вспомнить несколько анекдотов о Мак-Гахане, которыми я мог бы поделиться со своей газетой. Я понимал, что писать о далеком Транс-Каспии, настоящей *terra incognita* для большинства американцев, будет нелегкой задачей, если только мне не удастся каким-то образом привязать к репортажу Америку. Но Куропаткин был не в настроении рассказывать анекдоты. «Когда Мак-Гахан и я были вместе», – произнес он, – «нам приходилось видеть и запоминать слишком много других событий».

Таков итог встреч с Куропаткиным. Что-то в этом человеке и его окружении захватило мое воображение, иначе мой краткий рассказ не попал бы на эти страницы. На протяжении всего путешествия по Транс-Каспию я размышлял о Чингиз-хане и Тамерлане. В

Мерве нам рассказали, что некогда Чингиз погубил в этих краях свыше миллиона человек. В Самарканде показали могилу Тамерлана. Современный представитель грубой силы и мощи, Куропаткин казался улучшенным изданием Чингиза и Тамерлана. Как бы то ни было, он явно пытался насадить цивилизацию, прежде чем обращаться к мечу. Его школы, железные дороги и сельскохозяйственные эксперименты говорили о созидательных способностях. Эта сторона его личности мне нравилась.

Не нравилась мне его карьера мясника – и мне неприятно было видеть его жесткое лицо. И все же в его прощальных словах, «Bonne Chance»*, чувствовалось нечто товарищеское, солдатское; по мне, приязни он был достоин больше, чем брани. Что же касается пяти миллионов рублей, которые Куропаткин, по слухам, «прихватил» в Манчжурии, могу лишь сказать, что он не показался мне похожим на вора.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Полицейская облава, в которой я принимал участие в Санкт-Петербурге, хоть и не была напрямую связана с опытом бродяжничества в России, все-таки осталась в памяти: ведь началось все с изучения ночлежных домов для бродяг. Занимаясь своими исследованиями, я внимательно осматривал пристанища местных босяков и посетил, среди прочих, печально известный дом Вяземского, худшую из трущоб, какие я когда-либо и где-либо видел. В одну зимнюю ночь 1896 года (мне говорили, что с тех пор ничего не изменилось) здесь в пяти двухэтажных домах, расположенных на пятачке размером с бейсбольное поле, спали 10.400 мужчин, женщин и детей. Всего лишь в сотне шагов находится Аничков дворец. Обитатели дома Вяземского – больные, преступные и дерзкие отбросы городского населения.

Как-то раз глубокой ночью офицер полиции и несколько городовых повстречали одну женщину из Армии Спасения, выходившую из самого обветшалого здания. Она посещала ночлежку по миссионерской надобности.

– Боже мой! – воскликнул офицер, увидев ее без сопровождающих. – Вы здесь одна?

– О нет, офицер, не одна, – отвечала бесстрашная маленькая женщина. – Со мною Бог.

– Гм, – хмыкнул офицер. – В компании одного Бога я сюда ни за какие деньги не сунулся бы.

Облаве, в которой я участвовал, подверглась ночлежка поменьше рядом с монастырем Александра Невского. В известном смысле, должен признаться,

облава была устроена ради меня, и после я очень сожалел, что стал ее виновником. Тогдашним начальником сыска был милейший престарелый джентльмен по фамилии Шереметьевский. Однажды я сказал, что хотел бы увидеть, как «работают» его люди, и он представил меня рослому офицеру – забыл его имя – который любезно предложил мне поглядеть на облаву в одном подозрительном ночлежном доме.

Около девяти вечера мы собрались в ближайшем к ночлежке полицейском участке. Меня сопровождал мой друг-шотландец. Тут были так называемые сыщики, или полицейские в гражданской одежде. Здание ночлежки заранее окружил отряд полицейских в форме, так что из дома никто не мог бежать. Вскоре мы, выстроившись в колонну по одному, последовали за ними; я слышал, как прохожие на тротуарах перешептывались: «Полиция! Полиция!». Они так смотрели на нас и так произносили это слово, что сторонний наблюдатель мог бы решить, будто мы отправились на некое зловещее мероприятие и собираемся посадить под замок все население города. Ворота ночлежки закрылись за нами. Мы сгрудились в нижнем коридоре, где всем раздали свечи. Городовые, стоявшие снаружи, никому не позволяли ни входить, ни выходить из здания.

Свечной жир капал на нашу одежду, пока мы неловко взбирались по темной лестнице в мужскую половину. В центре комнаты горел тусклый светильник, отбрасывая зловещие отсветы на проснувшихся жильцов. Какое разнообразное общество находилось в этом дурно пахнущем помещении! Старики, едва способные выбраться из коек; неотесанные головорезы средних лет, на мгновение оторопевшие, но полные жажды мести и преступления; молодые парни, только начавшие городскую жизнь и дрожащие от страха при

виде неожиданных гостей – никогда еще мне не приходилось видеть такое жалкое смешение человеческих тел и отрепья.

Метод полиции был достаточно прост. Каждого обитателя ночлежки заставляли предъявить паспорт. Если документ был в порядке, прекрасно; он мог снова отправляться спать. Но если в бумагах обнаруживалось что-то подозрительное или, что еще хуже, бумаг вовсе не было, его отсылали вниз, где он присоединялся к другим задержанным, охраняемым полицейскими. Из задержанных в ту ночь нарушителей самыми страшными, мне кажется, были несколько скрывавшихся крестьян, которые бежали из деревень и болтались без дела, прося милостыню в городе. Один бедный старик принял меня за офицера полиции. Я шел между кроватями, высоко держа свечу и стараясь рассмотреть лица постояльцев. Старик – было ему, надо полагать, около восьмидесяти – вытащил засаленный клочок бумаги, представлявший собой паспорт, и попытался убедить меня, что не совершил в этом мире ничего предосудительного. В его потухших старых глазах застыло умоляющее выражение, точно у дворняги, ищущей хозяйского милосердия. Я рад был узнать, что его бумаги оказались в порядке.

Позднее мы осмотрели и женское отделение. Здесь мы нашли такую же мешанину тел и лохмотьев. Как и мужчины, женщины должны были предъявить паспорт либо отправиться в участок. Одна молодая крестьянка растерялась или, возможно, просто не умела читать. Она уверенно протянула сыщику свой паспорт, но когда тот спросил, как ее зовут, назвалась другим именем – не тем, что значилось в паспорте.

– Ступай вниз, невежда, – приказал офицер, и она ушла, горестно размышляя над тем, почему на свете

бывают разные имена, во всяком случае в удостоверениях личности.

Осмотр завершился, мы спустились в нижнюю комнату и пересчитали нашу «добычу». В сети полиции угодило больше десятка нищих. Их выстроили снаружи между двумя рядами полицейских, свечи были потушены и инспектор отдал приказ двигаться. Не хотелось бы вновь увидать ту жуткую, мрачную картину, какую являли собой эти люди в лохмотьях, устало тащившиеся в темноте. Мне показалось тогда (и продолжает казаться сейчас), что сцена эта раскрыла всю печальную и грустную правду о России.

– Страна бродяг, – пробормотал я, когда мы с другом оказались одни на Невском.

Полагаю, самым захватывающим приключением времен моего бродяжничества в России, о котором я должен рассказать, стал арест. Арестовывать меня, собственно, не имели права, но какое значение имеют права в России? Произошло это так.

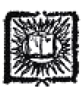
Генерал Клейгельс*, в то время (1897) занимавший пост градоначальника Санкт-Петербурга, выдал мне письмо, адресованное городской полиции. Говорилось в нем приблизительно следующее: «Податель сего – Джозайя Флинт, американский гражданин. В Петербурге находится для изучения условий жизни в городе. Ни при каких обстоятельствах не подлежит аресту за бродяжническое поведение». Слово *vagabondish* является ближайшим английским эквивалентом русского слова, которое использовал генерал, причем слово это он самолично подчеркнул. Американский посланник в России сказал мне, что с таким письмом в кармане я вполне мог бы безнаказанно совершить убийство, но я умудрился попасть под арест за куда менее тяжкое преступление.

Tramping
With Tramps

STUDIES AND SKETCHES
OF VAGABOND LIFE

By
Josiah Flynt

With Prefatory Note by
Hon. Andrew D. White



New York
The Century Co.
1899

Титульный лист первой книги Д. Флинта «Странствия с бродягами»

Период моего бродяжничества в городе закончился и я, снова приняв респектабельный вид, жил у себя на квартире. Как-то вечером мы трое (англичанин, я и еще один американец) решили осмотреть достопримечательности. Бродяжничая, я мало что узнал о местной ночной жизни и я теперь смело воспользовался приглашением американца, обещавшего показать нам неизвестный Петербург. Смотреть оказалось почти нечего, все это я не раз видел в других городах, однако

нам еще предстояло небольшое и весьма занятное приключение. Англичанин – низкорослый человечек, который только что купил новый котелок и всячески им похвалялся – во время прогулки умудрился отстать. Мы осмотрели всю улицу вдоль и поперек, но его нигде не было. Когда мы уже собрались пойти в полицейский участок и поднять тревогу, из темного подъезда, пересчитывая ступени, вылетел не кто иной, как наш британец: котелок его был весь измят, лицо в крови.

– Только посмотрите, новехонький «Линкольн и Беннетт», – прорычал он, очутившись на улице. – Шестнадцать шиллингов к черту в пасть!

Мы стали спрашивать, что вызвало ссору. Он не знал. Помнил только, что поднялся по лестнице и был вежливо принят у входа.

– Зашел я в зал, – рассказал он, – заказал выпивку и уселся. Сижу и думаю, что будет забавно раскрыть зонтик и держать его над головой. Видать, меня ослепил свет. А дальше я полетел вниз по лестнице. Проклятье, быстро у них вышибала управляется, верно?

Американец, который свободно владел русским и был на хорошем счету у полиции в своем квартале, твердо решил призвать хозяина заведения к ответу. Он и англичанин поднялись наверх, я же, как мы договаривались, остался на улице и принялся во весь голос звать городового. Тотчас подбежали два *dvorniks* (привратники в подчинении у полиции) и стали крайне подобострастно просить господина объяснить им, в чем дело. Забыв об их связях с полицией, я оттолкнул одного из них, заявив, что мне нужен городовой, а не швейцар. Сам генерал Клейгельс не был бы так оскорблен и возмущен подобной бестактностью. *Dvorniks* попытались меня схватить, но я помчался вверх

под лестнице, под сень спасительных крыл американца. *Dvorniks* бросились за мной – и в результате долгого и пылкого спора я был вынужден проследовать в полицейский участок, где упорно хранил молчание. Офицер обыскал меня и нашел в одном из карманов визитную карточку маленького англичанина. Он принялся тыкать мне ею под нос, приговаривая: «*Vash? Vash?*», но я сдерживал гнев и старался молчать. Карманы брюк он так и не обыскал. В одном из них имелся плотно заполненный футляр для визиток, в другом мог бы лежать револьвер. О существовании брючных карманов, похоже, он даже не догадывался.

Вскоре ко мне присоединились товарищи и мой соотечественник вступил в длительные переговоры с офицером. Наконец тот согласился вернуть мои вещи и отпустить меня на поруки друга с обязательством предоставить документ генерала Клейгельса. В тот же день, около трех, я снова явился в участок. Лицо офицера выразило глубочайшее ошеломление. Вероятно, с подобными бумагами ему никогда не приходилось сталкиваться – думаю, то был первый документ такого рода, подписанный генералом Клейгельсом. Прекрасно зная, что оскорбил меня, офицер рассудил, как мне кажется, что шумиха никак ему не поможет, вздумай я ему насолить. Записав дату и номер письма, он протянул мне документ и сообщил, что я свободен. По какой-то непонятной причине мы пожали друг другу руки, и я никогда не забуду то странное выражение, с каким он глядел на меня, а также его манеру поджимать два пальца во время рукопожатия. Если в этом жесте и заключался некий тайный знак или сигнал, мне он остался неведом.

Последствия этого небольшого столкновения с полицией оказались даже курьезней ареста. В скором времени я в компании американского посланника и

шотландского друга отправился в северную Финляндию, где мы собирались порыбачить и отдохнуть на лоне природы. Не успели мы разбить лагерь, как мне сообщили, что в Санкт-Петербурге меня разыскивают по уголовному делу, однако заверили, что «беспокоиться не о чем». Вместе с друзьями я неспешно добрался до северного полярного круга и затем возвратился в Санкт-Петербург. Дома я незамедлительно осведомился у швейцара, что известно о повестке в суд или обвинительном заключении.

– Не стоит внимания, господин, право, не стоит, – рассмеялся швейцар. – Началось с обвинения, а на следующей неделе объявили, что вы оправданы. Все очень просто.

Я был убежден, что обвинение могло касаться разве что скандала с *dvorniks* в вечер моего ареста и решил узнать, что случилось с моими друзьями. Американец, как выяснилось, выехал на дачу, расположенную на одном из островов.

– Вам сообщали, что вы обвиняетесь по уголовному делу? – спросил я.

– Конечно, – ответил он. – Мое преступление состояло в том, что я свистел в участке.

Судя по всему, дежурный офицер, мечтая расквитаться с одним из нас, назначил жертвой американца, который постоянно проживал в России – меня он обвинить побоялся, тогда как маленького англичанина разыскать не сумел. Американец свистнул непреднамеренно, то был просто возглас. Я припомнил, что в ту роковую ночь, когда американец упрашивал офицера освободить меня, последний сделал несколько поразительных заявлений. Услышав одно из них, мой друг невольно присвистнул от удивления. Я спросил, чем закончилось дело.

– Проиграл, – сказал он. – Доверился адвокату, и он настолько все запутал, что мне пришлось заплатить двадцать пять рублей штрафа. Как обстоят ваши дела?

Я сказал, что был оправдан.

– Вот вам Россия! – воскликнул он. – В сущности, в этом деле вы нарушили закон – и вас отпускают безнаказанно. Меня, бедного самаритянина, подвергают штрафу. Во всем, что они делают в этой стране, ровно столько же разума и смысла*.

– А маленький англичанин? – спросил я. – Он ведь заварил всю эту кашу? Где же он?

– Последнее, что я слышал – развлекается где-то на тихоокеанских островах.

Примечания

«Хобо в России» Джозайи Флинта, первая книга издательства Salamandra P.V.V., вышла в свет в декабре 2009 г. В связи с имевшимися в книге техническими недостатками мы предлагаем сейчас читателю новое, исправленное ее издание, для которого были также заново просмотрены и исправлены перевод и предисловие.
Источниками иллюстраций для данного издания послужили, в частности, книги Д. Флинта «Моя жизнь» (1908) и «Странствия с бродягами» (1899), а также сайты city-walls.ru (Вяземская лавра) и all-photo.ru (дер. Барская). На фронтисписе – портрет Д. Флинта с фотографии 1894 г.

С. 11. ...*Национальная выставка* – Имеется в виду XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка, проходившая с невиданным размахом в Нижнем Новгороде с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября 1896 г. под патронатом Николая II.

С. 11. ...*Wanderlust* – Жажда странствий (нем.).

С. 12. ...*посетить как журналист* – Визиту Флинта в Ясную Поляну способствовал близкий друг и издатель Толстого, лидер толстовства В. Г. Чертков, к которому обратился с соответствующей просьбой пастор англо-американской церкви в Петербурге А. Фрэнсис (см. *Опульская Л. Д.* Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998. С. 212).

С. 13. ...*звездочкой в путеводителе* – В книге английской писательницы М. Старк «Путешествия по Италии между 1792 и 1798 годами» (1802), положившей начало современным путеводителям, применялась система восклицатель-

ных знаков. Данное новшество заимствовал К. Бедекер, в чьих путеводителях, начавших издаваться с 1830-х гг., восклицательные знаки были заменены звездочками.

С. 15. *...Уилкис-Бара ... какого-нибудь итальянца* – Уилкис-Бар – один из исторических центров угольной промышленности в штате Пенсильвания. В XIX в. угольные шахты региона привлекали сотни тысяч рабочих-иммигрантов.

С. 14. *...домом соседа Толстых* – Флинт останавливался у Черткова в Деменке, деревне неподалеку от Ясной Поляны.

С. 15. *...восемь из шестнадцати детей* – У Л. Толстого было 13 детей, пятеро из которых умерли в младенчестве или в малом возрасте.

С. 19. *...один из старших сыновей... портсигарами* – Подразумевается, вероятно, А. Л. Толстой (1877-1916), который в 1895 г. поступил на военную службу вольноопределяющимся и служил в Московском драгунском полку в Твери. Портсигары с эмалевыми, серебряными или позолоченными накладками были популярны среди военных.

С. 21. *...Уильяме Дине Ховеллсе, Генри Джордже... Генри Демаресте Ллойде* – Уильям Дин Ховеллс (1837-1920) – американский писатель-реалист, чьи произведения вдохновлялись русской литературой, пропагандист творчества Толстого, в описываемый период – один из наиболее влиятельных литераторов США. Генри Джордж (1839-1897) – американский писатель, политик, политический эконоист, автор знаменитого труда «Прогресс и бедность» (1879), выступавший за равный для всех доступ к природным ресурсам; Толстой высоко ценил идеи Джорджа и воспринял его смерть как потерю «очень близкого друга». Генри Демарест Ллойд (1847-1903) – американский журналист, зачинатель журналистских расследований, писал о злоупотреблениях крупных компаний.

С. 25. *...Брекенридж* – К. Брекенридж (1846-1932), хлопковод и член Палаты представителей США от штата Арканзас, служил посланником в России в 1894-1897 гг.; на этот пост его назначил президент С. Кливленд.

С. 25. *...Князю Хилкову... министра путей сообщения* – Князь Д. А. Хилков (1858-1914) – харьковский помещик, отставной казачий полковник, один из основателей толстовства, позднее революционер. В 1892 г. Хилков был выслан в Закавказье, затем в Прибалтику, в 1898 г. – за пределы империи. Министерство путей сообщения в 1895-1905 гг. возглавлял князь М. И. Хилков (1834-1909), государственный деятель и глубокий знаток железнодорожного дела.

С. 25. *...чересчур тесно связался с духоборами* – Власти и Синод считали опального князя Хилкова одним из главных распространителей толстовства среди духоборов Закавказья; в 1895 г. Хилков решительно встал на защиту духоборов, подвергшихся жестоким репрессиям за сожжение оружия и отказ от военной службы, а в 1898 г., уже находясь за границей, способствовал эмиграции духоборов и собирал средства для переселения их в Канаду (см. *Мазур В. А.* Хождение по мукам князя Дмитрия Александровича Хилкова // Известия Уральского государственного университета. 2000. № 15 (Проблемы науки и культуры, вып. 8).

С. 27. *...поглядел на письма* – В письме к Хилкову Толстой говорил о «гонениях, их неизбежности, о невозможности защищать гонимых в подцензурной печати». Рассуждения Хилкова о преимуществе художественной формы по сравнению с «догматической» удостоились в этом письме суровой отповеди: «Художественный способ изложения баловство и всегда дает возможность отмахнуться от того, что не нравится, тогда как простой способ изложения обязателен. Главное же то, что не то что хочется, а чувствую себя обязанным попытаться, и последнее время жизни на это положить, сказать просто и ясно то, что сам понимаешь

просто и ясно и что так нужно людям» (*Опульская Л. Д.*, op. cit., с. 213). Согласно Опульской, «американский консул счел нужным доложить русским властям, те распечатали письма и запретили передачу», однако в данных мемуарах, по крайней мере, нет свидетельств перлюстрации писем.

С. 32. *...тюрьме Либби* – Т. е. тюрьме конфедератов в Ричмонде (Виргиния), где во время Гражданской войны в США в тяжелых условиях содержались пленные солдаты-северяне.

С. 34. ...Динабург – Немецкое название современного Даугавпилса в Латвии, также известного в разные времена как Двинск, Борисоглебск и т.д.

С. 40. *...доме Вяземского* – Речь идет о т. наз. «Вяземской лавре», возникшей в середине XIX в. на участке, приобретенном князьями Вяземскими для застройки доходными домами. «За сравнительно короткое время на территории от Фонтанки до Сенного рынка число длинных двухэтажных зданий достигло тринадцати. В них за незначительную плату одновременно могли находиться до 20 тысяч человек. В основном это были бродяги, нищие, воры, проститутки, бандиты, беспризорники. Очень скоро печально знаменитые ночлежки «Вяземской лавры» приобрели славу самых страшных трущоб старого Петербурга» (*Синдаловский Н*. Фольклор социальных низов Петербурга, или «не лезь в бутылку» // Нева. 1998., № 7. С. 192-199). Почти все здания «Вяземской лавры», которая упоминается в произведениях Ф. Достоевского, В. Крестовского и мн. др. писателей, были снесены в 1910 г.

С. 44. *...«Gouslitzki» или «Староверы»... Богородска* – Гуслицкая волость Богородского уезда была крупнейшим центром старообрядчества и вела оживленную торговлю (ткани, литье, иконы, рукописные книги). В районе Богородска (ныне Ногинск) подвизались также многочисленные фаль-

шивомонетчики, изготовители подложных документов, свидетельств, сборных листов на ремонт храмов и т.д. Многие местные жители занимались попрошайничеством и, вооружившись поддельными бумагами, добирались не только до Москвы, но и до южных губерний. В этой же волости действовал известный разбойник второй половины XIX в. Василий Чуркин (см. *Михайлов С.* «Веселые промыслы» гуслицкого края // Народное творчество. 2005. № 6. С. 60-61).

С. 45. *...чуть ли не родного языка* – Жители Гуслиц пользовались тайным «масойским» или «своим» языком (от «мас» – я).

С. 45. *«Chouvaliki», еще одна известная шайка...* – Село Шувалово, расположенное между Боровском и Можайском, прославилось как один из центров попрошайничества; местные нищие, известные как «шувалики», дважды в год отправлялись большими караванами в дальние поездки, включавшие помимо черноземных губерний также Польшу, Финляндию и Прибалтику, попрошайничали и в столицах. «Шувалики» традиционно выдавали себя за погорельцев или жертв неурожая, под видом монахов собирали деньги на ремонт храмов.

С. 46. *...rakli* – Слово «ракло» («рахло») зафиксировано в жаргоне профессиональных нищих в конце XIX в., в некоторых случаях употреблялось в значении «обманщик, врун». Предположительно происходит от цыганского «ракло» / «ракли» (парень / девушка не цыганского происхождения).

С. 46. *...«Kazanskia Sieroty»* – «Казанский сирота – назойлив и докучлив: от него не отвяжешься. От других его всегда можно отличить по особому мундиру и ухваткам... Он плут нагольный и образцовый притворщик: нищенством и попрошайством он простодушно промышляет, как подобные ему пензенские калуны, клепенские (смоленс-

кие) мужики и ведомые всему московскому люду и русскому миру воры и сквозные плуты — гуслицкие нищеброды. Разница у казанских с этими лишь только в местностях промысла: казанские «Волгам шатал, базаром гулял» и все князья, не без достаточных однако на то причин и оснований. Большею частию они – потомки бывших казанских мурз» (Максимов С. Крылатые слова. СПб., 1890. С. 155).

С. 47. *...«Kalousni»... kalit* – Обитатели известного «гнезда» профессиональных попрошаек Пензенской губернии, именовавшиеся иногда «колунами» или «калунами» (см. выше), называли себя «калилами» от местного слова «калить» – выть, выпрашивать плачущим голосом подаяние. Артели нищих-«колунов» путешествовали по всей центральной России, попрошайничали в столицах, добирались до Украины, Молдавии и Кавказа.

С. 47. *В деревне Галицино, в Пензенской губернии...* – Т. е. село Архангельское Голицино, один из главных центров попрошайничества в губернии; в середине XIX в. насчитывало 377 дворов.

С. 48. *...нищие, известные как «Kossoulinki»* – Косулино – селение под Екатеринбургом на Тюменском тракте.

С. 55. *Честь создания первого рабочего дома... Иоанну Кронштадскому* – В 1882 г. отец Иоанн Кронштадский открыл в Кронштадте первый «дом трудолюбия»; ко времени путешествия Д. Флинта в России появилось свыше сорока домов трудолюбия, к началу XX в. – около ста.

С. 56. *...na chai* – Буквально «для чая», то же, что *pour boire* на французском и *Trinkgeld* на немецком (*Прим. автора*).

С. 39. *Генерал Куропаткин... главнокомандующего в Манчжурии* – Ген. А. Н. Куропаткин (1848-1925) в описы-

ваемый период был начальником Закаспийской области (1890—1897). Военный министр в 1898-1904 гг. Во время русско-японской войны командовал Манчжурской армией, затем стал главнокомандующим, потерял должность в марте 1905 г. после поражения при Мукдене. В Первой мировой войне Куропаткин командовал Северным фронтом, позднее был назначен генерал-губернатором Туркестана. После 1917 г. жил в своем бывшем имении в селе Шешурино, где создал сельскохозяйственную школу.

С. 63. *....военного корреспондента Мак-Гахана* – Я. Мак-Гахан (1844-1878) – знаменитый американский военный корреспондент, прославился репортажами о франко-прусской войне (1870), болгарской резне (1876) и т.д. В начале 1870-х гг. – корреспондент «Нью-Йорк Геральд» в Петербурге. В 1873 г. пересек верхом пустыню Кызыл-кум, присоединился к русским войскам и стал свидетелем падения Хивы; позднее описал свои приключения в книге «Военные действия на Оксусе и падение Хивы» (1874). В 1877-78 гг. Мак-Гахан, близко друживший с ген. М. Д. Скобелевым, освещал русско-турецкую войну; умер от тифа в Константинополе.

С. 63. *...Оксус* – Старинное латинское название реки Аму-Дарья.

С. 63. *...Геок-Тепе представлял собой развалины... свыше двадцати тысяч туркоманов* – Текинское укрепление Геок-Тепе (Янги-Шаар) было взято Скобелевым после длительной осады (ноябрь 1880-январь 1881); войска Скобелева преследовали туркменских беглецов в пустыне и устроили кровавую резню в крепости, где помимо текинских солдат находились тысячи гражданских лиц. Общее число погибших туркмен оценивается в 14.500 человек, потери русских войск – 398 убитых. *Туркоманы* – устаревшее название среднеазиатских туркмен.

С. 65. *...если бы с Филиппинами решили разделаться быстро* – Имеется в виду филиппино-американская война, которая началась в 1899 г. и официально завершилась с признанием американского правления в 1902 г., хотя стычки и бои с отдельными группировками инсургентов продолжались до 1913 г.

С. 66. *...Bonne chance* – Всего хорошего, в добрый час (франц.).

С. 70. *Генерал Клейгельс...* – Генерал от кавалерии Н. В. Клейгельс (1850-1916), обер-полицмейстер Варшавы (1888-1895), градоначальник Петербурга (1895 – декабрь 1903), киевский генерал-губернатор (1904-1905).

С. 75. *...разума и смысла* – Цитата из Шекспира: «neither rhyme nor reason», буквально «ни рифмы, ни разума» («Комедия ошибок» и «Как вам это понравится»).

Оглавление

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.